

— А у вас нет?

— Нет. Мне новое внушает страх.

Я уехал, он остался. Лишь постепенно, живя в Новом Свете и регулярно сталкиваясь с новыми ситуациями, я по-настоящему оценил честно отрефлектированную экзистенциальную робость В.

Раньше меня в эмиграцию отправился мой друг Феликс. Он и до этого неоднократно переезжал с места на место: Ташкент — Москва — Новосибирск — Ереван — Новосибирск. Сначала он приходил в восторг от нового окружения, овладевал новым языком, но вскоре со всеми ссорился, бросал опостылевшую работу, срывался дальше, возвращался, снова уезжал. За границей повторилось то же: Израиль — Лондон — Израиль — Канада — Лондон — Штаты...

Я помню многие его словечки.

— Алик, если люди могут лечь в постель только на почве общих взглядов на морфологию, согласишься, в этом есть какая-то половая трусость?!

Феликса десять лет, как нет в живых. В., который старше нас почти на столько же, бодр, ездит по свету, иной раз удивляет чем-нибудь новеньким. В себе я знаю обоих — с одним давно напереезжался и умер, с другим перебираюсь в новое тысячелетие.

Identity

Это я или не я?

Это жизнь идет — моя?

Лимонов

Еще недавно этого слова в русском языке не было, да и сегодня «идентичность» звучит скорее, как абстрактное свойство, — как «персональность», а не как «личность». Еще недавно Валерий Подорога в толковывал целой аудитории интеллектуалов, что «российскому человеку тело не выдано», и как откровение читался рассказ Виктора Бейлиса «Бахтин и другие» — о «склеенных людях» («релла манеринья», они же «инапатуа»). А ведь нет у нас ничего дороже сознания собственной неповторимости, нет худшего оскорбления человеку, чем принять его за другого, нет большего позора для элитария, чем спутать пушкинскую строчку с лермонтовской. «Ты знаешь, откуда происходит слово *интеллигент*? — грозно спрашивал меня Юра Щеглов. — От латинского *intellego, intellexi, intellectum, intellegere* — «различаю»!!!»

Когда я стал носиться с пушкиноведческими работами Гершензона, неизменной реакцией знатоков, начиная с Лотмана, был рассказ о том, как Гершензон приписал Пушкину текст Жуковского, а потом выстригал эту публикацию из экземпляров своей книги. Все теоретические прозрения Гершензона, первооткрывателя пушкинских инвариантов, разбивались об этот идентификаторс-

кий ляпсус. Хотя торжество знатоков основывалось не на каком-то совершенном искусстве атрибуции, а просто на цепкой памяти.

Недоразличение индивидуального — структуралистский грех. Чтобы принять Жуковского (или Баратынского) за Пушкина и одного человека за другого, надо слишком хорошо видеть общее, и споткнуться на уникальном. Обратный случай — опознание поэтов и знакомых строго по паспорту.

Один мой коллега, начиная статью, прежде всего пишет наверху страницы свои имя и фамилию. Ни текста, ни даже заголовка может долгое время не быть, но территория уже помечена — проблема авторства решена.

В ходе юбилейной бабелевской конференции (Москва, 1994) возник спор, не отнести ли задним числом к «Конармии» тематически и стилистически примыкающие к ней рассказы «Старательная женщина» и «У батьки нашего Махно». Я сказал — вразрез со своим структурализмом — что все наши убедительные доводы «за» немедленно увянут, если найдется обрывок бумаги с собственноручным свидетельством Бабеля «против». И мы исправно разработаем структурные обоснования в пользу авторской воли, иначе за что нам платят?

Лет пять назад на Банных чтениях Слава Курицын выступил с эпатажным докладом о том, как он, провинциальный юноша, задумал стать столичным писателем, пишущим, печатающимся и живущим, как хочет, — и стал. Тарелочка с голубой емкостью не обманула: теперь он диктует спонсорам

свои рубрики, сроки, гонорары и прочие условия; минимум усилий приносит максимум успеха. В. А. Успенский спросил его, не был ли бы успех еще более полным, если бы удалось свести усилия вообще до нуля, делегировав и само написание текстов. Ответа, к сожалению, не помню, потому что тут меня вызвали из зала давать телеинтервью, и за упрочением собственной идентичности я забыл о курицынской.

Что и говорить, хочется отличаться. В период сватовства мы с Таней поехали к ее знакомому — в гости, но и с мыслью заказать у него обручальные кольца. По ходу застолья, в ответ на какие-то мои слова он вдруг с особым выражением произнес: «Вот тебе и тема!» Мы со Щегловым занимались тогда разработкой эйзенштейновского понятия темы, и я терялся в догадках, каким образом это стало известно собеседнику и в чем был смысл его возбужденной реплики. Против обыкновения, я тактично промолчал, а на улице Таня, давась от смеха, объяснила, что год назад приезжала к нему с тогдашним женихом — журналистом, жаловавшимся на нехватку тем. С тех пор фраза «Вот тебе и тема!» навсегда вошла в наш пословичный фонд. Энтузиастическую неразборчивость ее автора я простил сразу; Танина задела меня сильнее.

Сам я помнил все. По-английски это называется total recall. Я помнил в лицо всех людей, которых когда-либо встречал; помнил, кто они такие, что они мне когда-либо сказали и что я им ответил, помнил все, что я прочитал, написал и поду-

мал, и удивлялся тем, кто помнил не все. Мне казались неправдоподобными — чисто условными — литературные сюжеты, основанные на неузнавании друг друга родственниками, давними друзьями и возлюбленными.

Увы. С погружением в иностранную среду, освоением новых культурных языков (университет, банк, налоги, недвижимость, автомобиль, компьютер, интернет) и возрастом, все это кончилось. Как-то я приехал в Москву и на большом сборище назвал одного критика именем другого, менее известного. С ходу он прореагировал нормально («Алик, да вы что?!»), но в дальнейшем посвятил мне несколько полемических перлов. Другой недоузданный коллега произнес в точности ту же реплику, но печатно не гневался, возможно, потому, что в свое оправдание я сослался на отпущенную им за годы застоя бороду. Меняет ли борода идентичность владельца, вопрос, конечно, сложный, сродни обсуждаемому в начале «Носорогов» Ионеско: если кошка — четвероногое, то останется ли она кошкой после ампутации одной, двух, трех, четырех ног? (В пьесе этот спор, основанный на софизме «Лысый», служит предвестием коллаборационистского превращения людей в носорогов.)

Один приятель рассказал мне историю, которую привожу с его разрешения и в обезличенном виде. Шел первый год его эмиграции, — как ощущалось в конце 70-х, абсолютно безвозвратной. В этом состоянии эмигранту повсюду мерещатся

лица из прошлого. И вот однажды, на площади большого европейского города ему показалось, что он видит старинного знакомого. Сначала он отмахнулся, как от миража, потом заколебался, оглянулся еще раз, всмотрелся, и тут прохожий поймал его взгляд и узнающе улыбнулся в ответ.

— Что ты здесь делаешь?!

— Живу и работаю. А ты?

— Приехал с выставкой. Завтра уезжаю. Кстати, могу не глядя отвезти в Москву все, что хочешь, — наши контейнеры не досматриваются.

Предложение было соблазнительное, и эмигрант решил послать оставшейся на родине подруге экзотический сувенир на батарейках, каких у нас еще не знали девы, да он и сам не видал. С волнением пересек он порог первого в своей жизни секшопа и был поражен гигантскими размерами электроприборов, украшавших стены этой сказочной пещеры и наводивших на мысль о не менее, чем тысяче и одной ночи. Продавцу он, смущаясь, объяснил, что хотел бы купить что-нибудь скромное, реалистическое, по образу и подобию своему, так сказать, собственный скульптурный портрет. Искомый симулякр был найден, куплен, отправлен, доставлен (через промежуточных лиц, с сохранением тайны вклада) адресатке и, пока не сели батарейки, представлял личность отправителя. («Играю и плачу», — стояло в ответном письме.)

Это было, конечно, лишь отдаленное приближение к той нуль-транспортировке личности, о

которой мы читали у Стругацких (и которую нам теперь обещают все более всерьез), но все-таки. Немного напоминает также «Сирано де Бержерака». Приятель уверяет, что история подлинная, но сходство с литературой — аргумент в пользу вымысла. А пересказ и обезличка окончательно размыывают identity.

Талант

Когда году в 92-м Юра Цивьян рассказал питерским знакомым, что едет на семестр в наш университет, его спросили: что это за кафедра — кто там работает? Среди других он назвал меня.

— Жолковский? Писатель?!

— Да.

— Приходится преподавать?..

Так я попал в одну категорию с Набоковым et al., вынужденными финансировать создание своих шедевров преподаванием чужих ленивым и любопытным американцам. (Дойдя в курсе русской новеллы до «Весны в Фиальте», которая студентам, как правило, не нравится, я сообщаю, что Набоков давно ответил им взаимностью, бросив Корнелл сразу по получении денег за экранизацию «Лолиты».)

Документально мой писательский статус был закреплен принятием в Московский Союз писателей по инициативе Володи Новикова, ёрнически поддержанной Сашей Осповатом (1993). В обмен на единовременный взнос в 15 у. е. мне была

выдана упругая красная книжечка Союза писателей уже не существовавшего СССР, с тисненым золотым Лениным на обложке. Я пользуюсь ею главным образом во внелитературных контактах — с таможенниками, проводниками и т. п., но однажды применил по назначению. В год столетия Бабеля я предъявил ее двум охранникам в пятнистом камуфляже при входе в ЦДЛ, небрежно уронив: «Это со мной» и кивнув через плечо на вдову классика А. Н. Пирожкову.

Но еще раньше, по приезде в Америку — в набоковскую Итаку (1980), был формально признан и мой талант как мидиа персонэлити.

Для общей ориентации и освоения звучащей речи мы сразу купили телевизор. Привез его сам хозяин магазина — веснушчатый рыжий здоровяк Стив Блументол. Его позабавили наши восторги по поводу гигантских размеров дешевого старого ящика, мы разговорились, и, слово за слово, он воодушевился идеей сделать о нас, еврейских беженцах, телепередачу.

Оказалось, он давно уже чувствовал позыв к чему-то большему, чем торговля подержанными железками. Меня он счел готовой звездой телекрана, закат советского престижа — идеальной конъюнктурой и решил, что не воспользоваться свалившейся прямо в руки комбинацией он не имеет права. Разумеется, новый бизнес — риск, тем больший, чем мельче бизнес и крупнее конкуренты. Но на то и американская мечта, чтобы не пасовать перед трудностями. Борь-

ба с телевизионными Голиафами была принята Стивом как еще один вызов открывавшейся перед ним судьбы.

Дело стало разворачиваться. Стив снял огромный подвал, набил его аппаратурой, нанял людей, начались пробы. Я не люблю своих фотографий, записей своего голоса и своего изображения на экране, но Стив отчаянно меня хвалил и предрекал большое телебудущее. Это было забавно, я со смехом рассказывал о «съемках» своему завкафедрой Джорджу Гибиану (Gibian) и вскоре втянул в них и его. Джордж смотрелся на экране отлично. Стив был доволен ростом труппы, повышавшим ее рыночную стоимость, но понимал, что это требует соответствующих мер с его стороны.

Меры были приняты — Стив нанял адвокатов, которые взялись за составление договора. Мы с Джорджем готовы были работать бесплатно, ради одной славы, но наших заверений никто не слушал. И вообще, дело не сводилось к размерам гонорара. Главное было оградить проект от магнатов телебизнеса, которые после нашего мгновенного успеха не преминут явиться с миллионными контрактами. Мы клялись Стиву в верности, но безрезультатно.

Адвокаты тем временем чеканили договор, призванный сковать нас по рукам и ногам, навеки отдав в крепостную зависимость Стиву. Мы не возражали, но Стив и его адвокаты никак не могли остановиться на окончательной формулировке нерасторжимости. Адвокатам платились солид-

ные деньги за каждый час работы, и они не очень стремились к ее завершению.

Пробы застопорились. Все время и деньги уходили и в конце концов ушли на адвокатов. Отыскание магической формулы так и не было доведено до конца. А жаль. Начиналась она по-голливудски заманчиво: «Стив Блументол, далее именуемый Компания, с одной стороны, и Александр Жолковский, далее именуемый Талант, с другой, согласились...».

Одного таланта мало.

Грамматика любви

Пресловутая анархичность итальянцев не распространяется на гастрономию. В вопросах еды и выпивки они до карикатурности пунктуальны. Про каждое блюдо точно известно, в котором часу его следует потреблять, и в названия некоторых из них этот временной показатель входит непременно частью. Таковы, например, знаменитые spaghetti a mezzanotte — макароны, поедаемые в полночь, после театра. Но и во всех остальных случаях категория времени является у итальянских *nomina senandì*, так сказать, грамматически обязательной, хотя и получает нулевое выражение. Гостеприимные хозяева охотно преподносят иностранцам уроки этой застольной лингвистики, сопровождая их семиотически не менее интересной жестикующей.

Речь о знаковых системах заходит здесь не случайно. В 1981-м году я преподавал в Летней Шко-

ле по Семиотике в Урбино, где и проводил свои полевые наблюдения. Общежитие Урбинского Университета построено в форме огромного эллипса, так что ни из одного окна не видно ничьих других. Это очень удобно в смысле privacy, особенно учитывая знойность итальянского лета и каникулярно-карнавальную атмосферу Школы. Административные же, учебные и другие публичные помещения располагаются в отдельном здании. В свободное от занятий время теплая компания профессоров и аспирантов из разных стран Европы собиралась в университетском баре в подвале учебного корпуса. Обслуживали местные студенты, для которых это был летний приработок.

Помню сценку, происшедшую уже перед самым отъездом между одним из профессоров и студентом-барменом. Профессор заказывает полюбившийся ему коктейль и спрашивает рецепт его приготовления. Этот мешковатый, не старый, но уже лысеющий еврей в очках из какого-то второрядного университетского города Англии, известного больше своей промышленностью (Ньюкасла? Лидса? Шеффилда? — полагаюсь на воспоминания не столько об Урбино, сколько о школьном учебнике географии), вызывает у меня снисходительное сочувствие. Знакомство с коктейлем, о котором идет речь, составляет, пожалуй, главное и единственное его достижение по светской части за истекший месяц. Женщины на него не смотрят, и о его монашестве ходят легенды. В жилом корпусе его соседкой сверху является любвеобильная

коллега-бретонка, каждую ночь приводящая из диско нового партнера. Но профессор об этом не догадывается, ибо ложится рано. Зато в середине ночи он просыпается от душераздирающих криков и уже озабоченно справляется о ее здоровье. Она извинилась за причиняемое беспокойство, а насчет ее здоровья просила не тревожиться — эти кошмары у нее с ранних лет.

Между тем, студент-бармен, смешав коктейль, пускается в детальное описание, которого я, разумеется, не помню. Что-то вроде того, что вы берете столько-то такого-то ликера и столько же коньяка, встряхиваете, добавляете несколько капель виски, выдавливаете одновременно одной рукой пол-лимона, а другой пол-апельсина, перемешиваете маленькой ложечкой, встряхиваете еще раз, густо присыпаете сверху корицей и шоколадом — *e alle otto e mezzo!*... На этой феллиниевской ноте бармен состроил итальянскую мину непередаваемого восторга — закатил глаза, поджал губы, вытянул лицо и покачал кистью правой руки с оттопыренным большим пальцем. — *Alle otto e mezzo!*... В пол-девятого!.. М-м!!.. О-о!!!

Профессор выслушал все это с полной серьезностью, попросил повторить и принялся записывать. Я смотрел на его полные щеки, синеватые от прораставшей к вечеру мужественной щетины, и пытался представить себе его холодную холостяцкую квартиру в далеком каменноугольном Ньюкасле или сталелитейном (текстильном?) Шеффилде и полное отсутствие перспектив на дальнейшее

развертывание сюжета, навешаемого своевременным принятием высокоградусного коктейля, — хотя пол-девятого еще не вечер.

Мои собственные донжуанские показатели представлялись мне удовлетворительными, хотя, конечно, и они оставляли простор для совершенствования: так, в прутковскую графу d'inachevé приходилось занести лихую бретонку и некоторых других участниц Школы. Тем не менее, итога, с которым я пришел к прощальному вечеру, можно было не стыдиться. Подогретый возлияниями и общей полнотой чувств, я повернулся к итальянцу Франко, с предложением выпить за наше знакомство.

— Что будем пить? П VOV? — откликнулся он.

Упоминанием об этом ликере Франко с легкой иронией указывал мне на неразвитость моего вкуса, каковую я поспешил смиренно признать:

— Ну, зачем же? Давай выпьем какого-нибудь хорошего итальянского вина, по твоему выбору.

— Да нет, ты не понимаешь.

— Почему же? Я помню.

Однажды, пробудившись от дневного сна, которому я предался после занятий и основательно ланча, я отправился в бар, чтобы насладиться следующей фазой очередного дня своей красивой западной жизни. Полуденный зной спадал. Было приятно пересечь остывающий университетский парк и спуститься в совсем уже прохладный бар.

Народу было немного. Меня пригласил к своему столику Франко, сидевший с одной из итальян-

ских аспиранток. Франко был молодой профессор, высокий худощавый красавец-брюнет. Его белая рубашка была распахнута, вернее, тщательно полурасстегнута по тогдашней моде, правильным ромбом обнажая его плоскую смуглую грудь. Перед ним и его дамой стояли бокалы со светлым вином.

Баров я вообще-то не посещаю, пить не мастак, особенно же не люблю белого вина. Но надо было что-то заказывать, и я подошел к стойке. Вид десятков, если не сотен винных, коньячных и ликерных бутылок навел на меня тоску, которую я попытался развеять, вчитываясь в наклейки, — в надежде хотя бы таким филологическим путем прийти к решению.

Мое внимание привлекла группа высоких керамических сосудов в форме огромных пуль, коричневых и белых. Это были ликеры, насколько помню, какого-то северного производства, возможно голландского. Аббревиатурное название одного из них заинтриговало меня, и я остановил на нем свой выбор.

— Дайте мне, пожалуйста, вот этого VOV. — С напитком в руках я вернулся к столику.

— П VOV? А quattro e mezzo? — как бы не веря своим глазам, спросил меня Франко с одновременным полуоборотом в сторону дамы.

Я пробормотал что-то в том смысле, что, конечно, в Италии надо пить вина, которыми она справедливо славится, но что я никогда не пробовал этого ликера и вообще мне многое проститель-

но как пришельцу из-за железного занавеса. Однако по лицу Франко было видно, что он остался при своем нелестном мнении.

И вот теперь, накануне прощания, я решил дознаться истины.

— Чего я еще не понимаю? Я же согласился, что глупо летом в Урбино заказывать какой-то ликер, рассчитанный на северные холода...

— Да нет, ты не понимаешь...

— Так объясни.

— Как тебе сказать?.. У нас мужчина пьет il VOV, когда он.. — Замолчав, Франко опер локоть правой руки на стол и с безнадежным видом уронил кисть вниз. — *Ma a quattro e mezzo?! Но не в половине же пятого?! — Он поднял очи горе, развел руками и выпучил губы.*

... Против семиотики, конечно, не попрешь. В глазах Франко я выглядел не многим лучше, чем иудей из забытого богом Ньюкасла в моих. Мужчину, который к концу сиесты нуждался в il VOV, можно было только пожалеть. А если бы Франко узнал, что сиесту эту я провел в одиночестве, он, наверно, вообще остерегся бы разговаривать со мной на подобные темы. И в моем владении языком *dolce vita* остался бы зияющий пробел.

Peers

Один из лучших каламбуров рассказал мне мой корнельский коллега L. Он утверждал, что при-

существовал при его рождении, скажем так, из пены морской.

В мужскую уборную зашел профессор и, увидев, что все писсуары заняты, принял позу ожидания. Узнавший его студент стал уступать ему место.

— Please, — ответил тот, — *we are all peers here.* («Что вы, мы все здесь равные/ мочащиеся».)

Типичное для юмора совмещение высокого и низкого играет здесь на словесном обнажении так наз. материально-телесного низа, на иерархичности отношений «студент — профессор» и на аристократических коннотациях слова *peer*: *peer* — I. 1. равный; 2. пэр; II. имя деятеля по глаголу *to pee*. В фокус поставлено слово, не только воплощающее, но и прямо называющее принцип приравнивания крайностей. Наглядно демонстрируется великая истина, что «Высокое и низкое *равны*».

Faux pas

Будучи эгоцентричен и неважно воспитан, я часто веду себя бестактно, обижаю, кого не хотел бы, и постоянно врежу себе в глазах окружающих. Полная исповедь на эту тему заняла бы много места, вызвала новые обиды, да и мне морально не под силу. Но один эпизод попробую рассказать.

Это было в первые год-полтора моей американской жизни, когда я много ездил с докладами — людей посмотреть и себя показать. На лекцию в одном престижном университете коллеги-слависты собрали мне внушительную аудиторию, вклю-

чая видных специалистов из смежных областей — лингвистики, киноведения, теории литературы. С некоторыми из них я познакомился на ланче перед лекцией, в том числе — с одной молодой, но уже знаменитой дамой, автором новаторской книги, которую она мне тут же подарила. Книжку я прочел позже, но на авторшу внимание обратил немедленно.

Бросался в глаза дефект ее внешности — кожа у нее на лице подверглась то ли ожогу, то ли какой-то неудачной операции, в результате чего была красной, шершавой и стянутой вбок, так что один глаз сидел криво. Но все это с лихвой компенсировалось подвижной фигурой и живой манерой держаться. Словом, она мне сразу понравилась, и я со своей стороны постарался понравиться ей, — как мне показалось, не без успеха.

Ошибки такого рода достаточно часты ввиду привычной самоуверенности российских мужчин и привычной же любезности американок. А в данном случае ситуация усугублялась очевидным, на мой российский взгляд, неравенством сил, однозначно отдававшим подпорченный товар в распоряжение первого встречного. В то же время, вызывающая — как бы бесстыдно обнаженная — краснота ее лица воспаляла воображение, создавая взрывчатую комбинацию повышенной желанности с повышенной доступностью.

Возможно, что во время ланча она вежливо предупредила, что у нее много дел и она не сможет дослушать меня до конца, не помню. Навер-

но, я отмахнулся от этого и нахально настаивал — и думал, что настоял, — на противном. Так или иначе, когда в середине доклада она встала с места и направилась к выходу (вещь в Америке нормальная), для меня это было неожиданностью. Не переставая говорить, я пошел ей наперерез (ужас!) и, когда наши пути пересеклись, стал на глазах у всех уговаривать ее остаться (что недопустимо ни при каких обстоятельствах!!), а в крайнем случае увидеться позднее (дальше некуда!!!). Отказ был, разумеется, полный.

Я продолжил доклад, который вызвал вполне оживленную дискуссию. Ни тогда, ни после никто мне ничего не сказал, и с кафедрой этого университета у меня сохранились хорошие отношения. Вообще говоря, нескольких таких ложных шагов по университетскому паркету достаточно, чтобы навсегда погубить академическую репутацию. Наверно, мне сделали скидку на загадочность русской души...

Торонто-80

Осенью 1980-го года, по приглашению чешского эмигранта-структуралиста Любомира Долежела, я поехал с лекциями в Торонто. Чехи, бежавшие в Америку кто в 1938-м (как мой корнелльский завкафедрой Джордж Гибиан), кто в 1968-м (как Долежел), занимали видное положение в американской славистике; принято было даже говорить о «чешской мафии». «Да какая там мафия, — сказал я

мичиганскому заву Ладиславу Матейке, — так, мафийка, русские евреи вам еще покажут». Долежел тоже заведовал кафедрой и вообще был очень активен. В поэтике он занимался применением понятия возможных миров к теории повествования. Возможные миры меня не увлекали, но приглашение было лестно — как само по себе, так и потому, что повышало мою visibility (известность, букв. «видимость») и, значит, шансы на постоянную должность.

Долежел принял во мне горячее участие. Один доклад я прочел, естественно, у него на кафедре, но фонды у славистов были, как водится, ограниченные, и он устроил мне еще и публичную лекцию, вне славяно-структурно-семиотического гетто, с солидным гонораром, до сих пор помню, в 500 долларов, правда, канадских.

Лекция состоялась в красивейшем готическом Тринити Колледж, в огромном, с высокими потолками зале на несколько сот мест, которые оказались заполнены. Для таких случаев у меня имела работа о каламбуре Бертрана Рассела *Many people would sooner die than think. In fact, they do* («Многие люди скорее умрут, чем станут думать. Собственно, так они и делают»). Доклад, возможно, благодаря щедро приводившимся остроумам Рассела и других авторов, публике понравился. В прениях на сцену поднялся самый знаменитый канадец русского происхождения George Ignatieff, одно время представитель Канады в ООН (член разветвленного клана Игнатьевых, среди которых

был и царский, а потом советский, генерал, автор книги «Пятьдесят лет в строю»). Дипломат не посрамил своей репутации и произнес небольшое похвальное слово — несомненный шедевр жанра. Он сказал, что из всех собравшихся он, повидимому, единственный имел честь слушать как профессора Жолковского, так и профессора Рассела (кстати, учившегося, а потом преподававшего в Кэмбридже тоже в Тринити Колледж), и рад засвидетельствовать адекватность разбора, основанную на сходном складе ума этих двух ученых. О скандалах, сопровождавших пребывание Рассела в Америке (1938-1944), он дипломатично умолчал.

Хотя в докладе пацифистский имидж философа деконструировался — выявлялась убийственная, в буквальном смысле слова, подоплека его рационализма, Рассела я люблю. Его «История западной философии» стала моей настольной книгой еще в те времена, когда мы читали ее под полусекретным грифом *Для научных библиотек*. В его эссе «О скрытых мотивах философии» я вижу блестящий образец тогда никому еще не ведомой деконструкции. А из его автобиографии не могу забыть фразу, венчающую описание первого научного успеха. Молодому Расселу вдруг приходит приглашение выступить на заседании Французского Математического Общества; он счастлив, едет в Париж, прибывает в указанное место и обнаруживает, что это небольшая комната, где вокруг стола сидят человек десять. «Observing their noses, I realized they were all Jews» («Обозрев их

носы, я понял, что все они были евреи»). Из-за железного занавеса отличия французских носов от семитских виделись нам не столь отчетливо (имел хождение даже эвфемизм «французы»), но для Рассела это был явно не бином Ньютона.

В мою честь устраивались приемы. После университетского доклада — у Долежеля, дом которого поразил меня своей роскошью; после публичной лекции — в ресторане, где я основательно напился. А как-то днем коллеги повели меня в модное кафе, и я не мог отделаться от странного ощущения, что место мне знакомо, пока не сообщил, что на гигантской фотографии во всю стену напротив (новаторская тогда техника оформления интерьеров) был воспроизведен кусок улицы Ньюхавн в Копенгагене, на которой я останавливался за год до этого.

Моим последним днем в Торонто была суббота, когда докладов не бывает, но заботливый Долежел спланировал мой визит таким образом, что как раз на эту субботу приходилось ежемесячное утреннее заседание возглавляемого им Торонтского семиотического кружка, готового оплатить мое выступление в скромном размере, не помню, пятидесяти, а может, и двадцати пяти канадских долларов. Я признался Долежелу, что третьего доклада у меня с собой нет, но он успокоил меня, сказав, что достаточно просто рассказать о трудах и днях советских семиотиков. По эмигрантскому безденежью, из благодарности к Долежелу и ради вящей славы московско-гартуской школы, я согласился.

Выступление состоялось в одной из небольших аудиторий по-субботному пустого здания, перед пятью-шестью слушателями. Долежел пышно представил меня, после чего я набросал, как мог, творческие портреты Лотмана, Иванова, Топорова и Ко. Когда я позвонил домой в Итаку и сообщил про незапланированную лекцию, Таня спросила, о чем же я говорил. «Об усах Лотмана», — сказал я. В дальнейшем этот жанр так у нас и назывался. Кстати, усы у Лотмана были нееврейские — какие-то казацкие.

Доклад в половине четвертого

Выступления гостей из других университетов обычно начинаются где-то около трех часов дня. Тут мало что можно изменить. Утром идут регулярные занятия, потом наступает время ланча (тем более основательного, что прием гостя представляет собой роскошную халяву) и лишь где-то к двум-трем удается собрать слушателей. В общем, раньше не получается, а позже тоже неудобно — желательно уложиться до пяти, и доклады придутся в точности на то время, когда человека безудержно клонит в сон.

Проблема усугубляется комфортностью специальных холлов, где устраиваются выступления, и монотонностью чтения по готовому тексту, не говоря уже о неоторимой снотворности докладов с демонстрацией в полутьме слайдов или фрагментов из фильмов. Так или иначе, большинство этих

мероприятий проходит у меня в борьбе со сном, даже если тема и докладчик мне интересны и я сам, в роли координатора, представляю докладчика, а затем веду обсуждение.

Естественно было бы списать все это на возраст, когда спать хочется все больше, а слушать других все меньше. Но вспоминается первый, так сказать, формообразующий случай этого рода, имевший место два десятка лет назад, в самом начале моей американской карьеры. Активный, 44-летний, я тогда только что получил в Корнелле должность «полного» профессора, а заодно и заведующего кафедрой русской литературы. Я много ездил на конференции и со специальными лекциями, по Штатам и по Европе, и в момент, о котором пойдет речь, как раз вернулся с симпозиума по «Мифу в литературе» в Нью-Йоркском университете. Там я встретил давних знакомых (Борю Гаспарова, Иру Паперно, Толю Либермана, Кристину Поморску), увидел коллег, которых знал только по работам (Генриха Барана и Омри Ронена), и сблизился с новыми для меня людьми (например, Полем Дебрецени).

Боря Гаспаров и Ира Паперно были тогда совсем свежими эмигрантами и жили в Нью-Йорке. У Бори не было постоянной должности, но имелась солидная научная репутация; Ира же была его молодой женой-аспиранткой, не защитившей диссертации по обстоятельствам отъезда. Ее доклад о Чернышевском (зародыш ныне хорошо известной книги), мне очень понравился, и я убедил коллег,

и прежде всего, предыдущего завкафедрой Джорджа Гибиана, пригласить их обоих выступить у нас в Корнелле, благо Итака от Нью-Йорка всего в одном недорогом часе полета.

Борин доклад проходил в просторной, довольно унылой классной комнате, с большими окнами и жесткими стульями. Он собрал много народу, был выслушан со вниманием и имел вполне предсказуемый успех. Ира выступала на другой день, и для этого была предоставлена уютная гостиная (lounge) на том же этаже, что и русская кафедра, с изящной мебелью, картинами на стенах и тяжелыми портьерами, располагавшая к интимному интеллектуальному общению.

Слово *lounge* значит также «комната для отдыха», «шезлонг» и «праздное времяпровождение», а в качестве глагола — «отдыхать, откинувшись в кресле, на диване», и вообще «бездельничать». Шезлонгов в нашей гостиной не было, но кресла и диваны имелись. Короче говоря, шикарно представив докладчицу как отменный продукт Тартуской семиотической школы (Ира окончила ТГУ), я опустился в мягкое кресло, с вдумчивым видом прикрыл глаза рукой и задремал.

Спал я чутко, и как только Ира замолкла, очнулся, чтобы как ни в чем не бывало поблагодарить ученую гостью за интересный доклад и предложить перейти к вопросам и обсуждению. Меня перебил Джордж:

— Доклад был действительно интересный — кроме вас никто не спал.

Раздался общий хохот. Я, как мог, отговорился тем, что доклад слышал еще в Нью-Йорке, пошли вопросы и ответы, и инцидент был заигран, а в дальнейшем вошел у нас с Ирой в общий ностальгический фонд.

Действительно, я давно уехал из Корнелла, Боря и Ира сменили несколько университетов, разошлись и оба переженились, Джордж Гибиан умер, его и мой тогдашний аспирант, свидетель описанного, Том Сейфрид, уже давно мой завкафедрой, Ира заведует кафедрой в Беркли... Но в послеполуденный сон на докладе меня клонит попрежнему — как в далекой корнелльской молодости.

Южный акцент

В начале 1980-х годов я несколько лет подряд ездил на конференции Американского Семиотического Общества, где, в частности, познакомился с очень занимавшим меня тогда Майклом Риффатерром. Одна из этих конференций проходила под Солт-Лейк-Сити, на территории пустовавшего не в сезон лыжного курорта.

Мормонский штат Юта известен, среди прочего, своим сухим законом. Практически это значит, что при входе в ресторан, тут же рядом с вешалкой, можно вступить в клуб любителей вина, каковым полагается купить в окошечке этого мифического клуба желаемую бутылку, поставить ее себе на стол и, заплатив официантке несколько

долларов за corkage (извлечение пробки), распить ее себе на здоровье, как и не в штате Юта.

Все это мы (я и несколько коллег, среди которых помню покойного Франтишека Галана) проделали с должным семиотическим интересом, а когда вино стало оказывать действие, протерли этот интерес и далее, пригласив танцевать местных девушек.

Танцуем, разговариваем.

— You talk different («Вы говорите иначе»), — отмечает моя партнерша.

— I do («Да»).

— You are not from here («Вы не здешний»).

— No («Нет»).

— You must be from *Southern Utah* («Вы, должно быть, из *Южной Юты*»).

Это был первый и последний раз, что в Америке меня приняли меня за американца.

Заметки феноменолога

В мою краткую бытность профессором и завкафедрой в Корнелле (1980-1983) мне довелось познакомиться с Полем де Маном. Он был в зените славы и в Корнелл приехал прочесть интенсивный, престижный и высокооплачиваемый курс публичных лекций (Messenger Lectures) по эстетике. Лекции читались во второй половине дня, длились, вопреки американским традициям, по три часа и более, не считая вопросов и ответов, и собирали огромную аудиторию — до ста и более студентов,

аспирантов и профессоров, в основном, конечно, гуманитариев.

Мне, с моими структурными установками и советскими пробелами в образовании, было трудно следить за ходом его рассуждений. Я добросовестно слушал и, как мог, осмысливал услышанное. (Помогал роднящий деконструкцию со структурализмом скепсис по поводу любых идеологий, так же поддающихся формальному исчислению, как и риторический репертуар литературы.) К концу второй лекции я даже наскреб некоторое количество недоумений, которого могло бы хватить на каверзный вопрос, но вылезать с этим на публику не решился, боясь попасть впрод с произнесением фамилии Канта. После лекции я спросил Джорджа Гибiana, как он, для которого английский язык тоже не родной, обеспечивает фонетическое противопоставление Kant/cunt («Кант/пизда»). Он ответил: «I don't. I rub their noses right into it» («А никак. Я прямо сую их туда носом»).

В следующий раз я все-таки собрался с духом и заветный вопрос задал. Ни своего вопроса, ни полученного ответа я не помню, но никогда не забуду формата, в котором была выдержана ответная реплика де Мана.

— Так, — сказал он, выслушав меня. — Вы... феноменолог. Следовательно, ответ должен выглядеть следующим образом...

Надо сказать, что, аттестовав меня как феноменолога, де Ман зависил мою скромную фило-

софскую квалификацию (правда, не без оснований — ввиду нашего со Щегловым упора на инварианты поэтических миров), и я некоторое время ходил гордый производством в следующий гуманитарный чин.

Так или иначе, шпаги были скрещены, знакомство состоялось. Оно продолжилось, когда благодаря моим связям с корнелльскими постструктуралистами (Джонатаном Каллером, Филом Льюисом, Ричардом Клайном), под чьей эгидой проходил визит де Мана, я общнулся с ним еще раз. Он посетил меня в моем огромном кабинете, и мы около часа беседовали о проблемах как литературной теории, так и аккультурации иностранных гуманитариев в Штатах (де Ман — бельгиец).

Это было незадолго до его смерти (и последовавших вскоре разоблачений его сотрудничества в профашистской прессе времен оккупации). У него было желтое лицо и деликатные манеры усталого человека. С отеческой заботливостью он заверил меня, что пяти лет мне хватит на то, чтобы освоиться в новой среде и почувствовать себя в американской славистике как дома. Вообще, ничего, так сказать, деконструктивного в его личности и обращении заметно не было.

Зато релятивизм его формулы я взял на вооружение. Я даже пытался завербовать в ее адепты Мельчука, но тут коса нашла на подлинно структуралистский камень: Игорь кривился при одной мысли, что правильных ответов может быть более одного.

О ЯКОБСОНЕ

Роман Осипович Якобсон был, судя по всему, великим человеком — одним из немногих, с которыми мне довелось немного познакомиться. Мой упор на «немногое» — не игра в стилистическую неловкость паче гордости. Величие по определению не может быть повседневным — иначе пропадают избранность и дистанция, необходимые для должного восприятия. Возможно, не меньшими заслугами, чем Якобсон, обладают люди, знакомые мне гораздо ближе, но нет пророка в отечестве своем. Величие, как и красота, в значительной степени is in the eye of the beholder («находится в глазу наблюдателя»).

В моих глазах и глазах нескольких поколений советских филологов именно сочетание «отечественности» и «иностранности» окружало Якобсона пророческим ореолом. Если не считать памятной со школы строчки Маяковского о неведомом *Ромке Якобсоне*, впервые я услышал о нем от моего учителя В. В. Иванова, а потом и от моего старшего друга и будущего соавтора Игоря Мельчука. Услышал, начал читать и вскоре зачислил себя в его заочные ученики и последователи. Но я позорно пропустил его в его первый доступный для меня приезд в сентябре 1958 года, когда он был в Москве на IV Международном Съезде Славистов и по инициативе В. Ю. Розенцвейга принял участие в заседании по вопросам теории перевода в МГПИИЯ, где с

ним познакомилась многие из тогдашних и будущих структуралистов; особенно он выделил, кажется, Мельчука. (До этого, впервые после тридцати с лишним лет отсутствия, Якобсон приезжал еще в 1956-м — на подготовительное заседание оргкомитета Съезда.)

Во второй на моей памяти приезд, кажется, в 1959 г., Якобсон выступал в Институте Языкознания — в угловом особняке на Волхонке, на углу Кропоткинской, ныне Пречистенской, площади, где теперь Институт Русского Языка. На этот раз я оказался на высоте и заранее занял место в имевшем переполниться актовом зале.

Якобсону было 64 года — возраст, который больше не кажется недостижимым. Темы его лекции я не помню, но помню, что он полемизировал с уже входившим в моду Хомским, что могло быть в жилу обоим направлениям тогдашней московской лингвистики — как официально традиционному, так и молодому структурному.

Двойственно, с дипломатически отмеренной смесью эпатажа и комплимента, прозвучал и забываемый пример, приведенный им в подтверждение опять-таки не помню какого тезиса. Из структуры английского (и любого западно-европейского) предложения *God is good (Deus bonus est* и т. п.) возможен схоластический вывод *Therefore, God is*, и потому это, так сказать, грамматическое доказательство существования Божия занимало видное место в западной теологии. Русское же предложение *Бог добр* таких возможностей не предоставля-

ет, и отсюда соответствующий пробел в русской богословской традиции.

На этом, однако, докладчик не остановился. Насладившись шокирующим впечатлением, произведенным на атеистическую поневоле аудиторию, он продолжал приблизительно так:

— Впрочем, грамматические средства русского языка вполне позволяют построить фразу *Бог всегда был, есть и будет добр* и — при желании — сделать из нее вывод, что *Бог всегда был, есть и будет*.

Шлали речь о проблемах описания русской глагольной связки, о важности семантики и синонимического перифразирования (в пике Хомскому) или о чем-либо еще, было, в конце концов, безразлично. Соль приведенного примера и его разбора состояла, прежде всего, в провокационном поминании имени Божия и тем самым в программной реабилитации богословских и вообще мировых измерений филологии (сам Якобсон, насколько я знаю, не был религиозен). Еще одной сверхзадачей этого театра одного актера была демонстрация могущества грамматики, в частности — русской, особенно — в руках такого виртуозного мастера ее анализа, как еврей-эмигрант, профессор славянской филологии Гарвардского университета. Во всяком случае, так это было воспринято мной и другими «нашими».

Поразила нас также ораторская манера Якобсона. Она была именно ораторской, броской, величественной уже по своему интонационному

рисунок. (Сходное впечатление оставили впервые услышанные в те же годы публичные выступления Шкловского, Кирсанова и некоторых других людей 20-х годов, оттаявших в ходе хрущевской «оттепели».) Удивил — и заставил разнообразно задуматься — и густой, нисколько не скрываемый русский акцент в английском языке, что-то вроде: *Гот из гут, зеэрфор Хи из*. Впоследствии я узнал ходившую в кругах западных филологов шутку о Якобсоне, который «свободно говорит по-русски на семи языках». (В Америке же мне пришлось столкнуться с более или менее единогласным отрицательным мнением носителей языка о стиле его научного письма.)

Этот акцент у «русского американца», да еще и великого лингвиста, тем более — великого фонолога, чья теория акустических дифференциальных признаков была последним словом тогдашнего структурализма, давал обильную пищу для размышлений. (Кстати, когда я после девятилетнего отсутствия, 1979-1988, впервые приехал в Москву из Лос-Анджелеса, моим друзьям-коллегам тоже почему-то очень хотелось, чтобы я оказался говорящим по-английски без акцента.) Отчасти акцент даже возвышал Якобсона, так сказать, не дававшего себе труда притворяться американцем, но главным образом, конечно, не то, чтобы снижал, но как бы приближал его, придавал его величии человеческие черты, делая его более доступным для подражания. Как говорится в еврейском анекдоте о сравнительных шансах для христиани-

на и иудея стать богом, «одному из наших это удалось».

Ощущение невероятного и все же осуществившегося контакта с человеком, которого и о котором мы только читали (в частности, у Шкловского в «Зоо» — про то, как в легендарные 20-е годы «Роман, со своими узкими ногами, рыжей и голубоглазой головой, любил Европу»), трудности, чинимые ему в связи с приездами в СССР, удручающие перестраховочные отказы и задержки при издании его трудов (в переводе которых мы участвовали), вплоть до запрета на упоминание его имени в печати (мне лично пришлось столкнуться с этим в журнале «Вопросы философии» в 1970-м году), проработка, которой подвергся В. В. Иванов, в частности, за свою связь с ним, — все это придавало его имени дополнительные магически раскрепощающие обертоны. Ходили, впрочем, и менее героические рассказы о том, что будто бы Яacobсон закидывал удочку насчет возвращения на родину — при условии, что его изберут в Академию и назначат директором Института Языкознания, но что советское начальство на это не пошло.

Неофициальное влияние Яacobсона, его имени, идей и работ было уже тогда несомненным. Когда в 1959 году формировалась наша Лаборатория Машинного Перевода, одно время шли переговоры о поступлении туда старшим научным сотрудником (с собственной ставкой от Министерства Высшего Образования) некоего влиятельного молодого доктора наук — слепого. Помню, как он при-

шел знакомиться с нами, непочтительной и, в большинстве своем, неостепененной гольтепой, и желая одновременно и себя показать, и к нам подольститься, спросил эдаким свойским тоном: «Вы, ребята, под кого работаете? Под Яacobсона?» Мы действительно работали немного под Яacobсона, немного под Сепира, немного под Трира, немного под Карнапа, немного под Маргарет Мастермен (из Cambridge Language Research Unit), но ощущали мы себя молодыми гениями и дали ему понять, что такая ограничительная научная прописка, объявленная, к тому же, полублатным тоном, нас не устраивает. У него хватило прозорливости, чтобы больше к нам не заявляться.

Еще раз Яacobсон приезжал, вместе с женой, Кристиной Поморской, в 1964 году, на Международный Съезд Антропологов. Я об этом не помню ничего, но история с тайным от него походом Кристины к Шкловскому, которого она в это время переводила, и с переданным через нее, а затем демонстративно отвергнутым Яacobсоном подарком (книгой Шкловского «Лев Толстой», 1963) описана и проанализирована Омри Роненом в «Новом литературном обозрении» (№ 23).

Следующий визит состоялся в 1966 году, причем опять по приглашению не какой-либо советской языковедческой инстанции, а Международной Психологической Ассоциации, которая избрала местом проведения своего очередного конгресса Москву, так что вопрос об участии Яacobсона был опять вне компетенции советских властей. В том

же году в Тарту проходила Вторая Летняя школа по Вторичным моделирующим системам, и Лотману удалось «пробить» поездку Якобсона в Тарту, которая и состоялась под «наблюдением» представленного к нему... В. В. Иванова. А в промежутке В. В. решил устроить Якобсону и Кристине встречу с цветом молодой московской лингвистики, и возложил на меня почетную роль хозяина этого приема.

Летним днем — дата в принципе установима, но я ее не помню — у меня на Метростроевской улице (ныне опять Остоженке), 41, кв. 3, собрались В. В. Иванов, В. Ю. Розецвейг, И. И. Ревзин, А. А. Зализняк, Е. В. Падучева, И. А. Мельчук, Л. Н. Иорданская, Б. А. Успенский, В. А. Успенский, В. М. Иллич-Свитыч (вскоре погибший), В. А. Дыбо, Г. Чикоидзе и другие, всего человек двадцать. Встреча была очень оживленная.

Те из наших лингвистов, которые за три года до этого побывали на Международном Конгрессе лингвистов в Софии, вспоминали о встречах там. В частности, Мельчук, который до свержения Хрущева, дела Синявского и Даниэля и «подписантства» еще был «выездным», описывал, как они с Кристиной отправились осматривать какой-то монастырь, за что ему в дальнейшем влетело от руководителя делегации и институтского начальства как за нежелательную связь (!) с женой Якобсона и тем самым с империалистической агентурой. Мельчука даже вызывали в КГБ и допытывались, почему Якобсон выдвигал его кандидатуру в пред-

седательствующие одного из заседаний и пригласил на ужин с американской делегацией.

Якобсон рассказывал о событиях большей (а впрочем, всего лишь двадцатисемилетней) давности — о своем бегстве через Данию, Норвегию и Швецию из оккупированной Гитлером Европы. Что-то совершенно экзотическое, особенно для живших за железным занавесом, он сообщил о том, как болезненно он переносит частые поездки с лекциями из одного конца света в другой — из-за разного набора микробов в пище, воде и воздухе разных континентов. Это было опять нечто великое — непрерывный globe-trotting, но в то же время сугубо человеческое — болезнь. Не ручаюсь за свою память, но, кажется, тут же (или на банкете в «Арагви», который ему в тот же день устроили грузины — Тамаз Гамкрелидзе, Гурам Рамишвили и другие) он продемонстрировал, как пьется «матросский тост»: водка наливается в узкую рюмку, рюмка захватывается губами, голова запрокидывается, рюмка осушается и тем же манером — без рук — возвращается на стол.

Так я, наконец, познакомился с недостижимым кумиром и даже получил в подарок два оттиска с надписями: «Новейшую русскую поэзию» (1921) со словами: ... *на память о детском труде посвящает автор*, и «Поэзию грамматики и грамматику поэзии» (1961) — ... *на память о московских встречах*. Якобсон, которого я теперь мог разглядеть вблизи, был более или менее лыс и сед, но рыжина проглядывала в цвете лица и глаз. Он запомнился

своей необычайной для семидесятилетнего человека энергией. Роста он был чуть выше среднего, с большой головой, большим носом, крупными, слегка навывкате глазами (один косил) и огромным лбом. Он был элегантно одет и держался то слегка согбенно, то неестественно прямо — кажется, ему приходилось носить корсет. (Снова посмотрев недавно фильм Годара «Презрение», 1963, с Фрицем Лангом в роли самого себя, я отметил их поразительное внешнее сходство; Ланг, 1890-1976, еврей по матери, родился в Вене, бежал в Париж в 1933 году и переехал в Штаты в 1935-м.)

В августе 1968 года я правдами и неправдами оказался в Варшаве (Польша тогда была нашим окном в Европу) и на полуптичьих, с советской точки зрения, правах участвовал в очередном Симпозиуме по Семиотике. На него съехались многие звезды семиотического и лингвистического небосклона — Эмиль Бенвенист, Умберто Эко, Юлия Кристева, Кристиан Метц, Освальд Дюкро, Ферруччо Росси-Ланди, Калверт Уоткинс и другие. Среди гостеприимных хозяев выделялись Стефан Жулкевский, Мария-Рената Майенова, Ежи Курилович, Анна Вежбицка.

Ждали Якобсона. Кристина, будучи полькой, воспользовалась случаем и приехала «домой» заранее. Он же должен был со дня на день прибыть из Чехословакии, где читал лекции.

Людам, знающим — а тем более пережившим — историю тех лет, слов «август 1968» и «Чехословакия» достаточно, чтобы понять, на сколь роковые

минуты пришлось открытие симпозиума, назначенное на 24-е августа. Р. О. позвонил Кристине из Праги и сказал, что не едет. Выглянув утром 22-го из окна гостиницы, он испытал чувство гротескного *déjà vu*: повторилось случившееся в 1938-м — с той небольшой разницей, что тогда танки были немецкие. Следующий звонок был уже из Парижа.

В течение полутора десятков лет после встречи в Москве мое знакомство с Якобсоном было заочным и косвенным. Для сборника статей по лингвистической типологии (1972) я перевел давно боготворимую в структурных кругах статью Якобсона о шифтерах, причем отстоял именно такой перевод английского термина (*shifters*), тем самым причастившись роли нарицателя имен. Переводы работ Якобсона пробивались в печать с трудом; большим энтузиастом этого дела была Муза Александровна Оборина, редактор из «Прогресса». Отдельные статьи появлялись — благодаря ее помощи и усилиям Иванова, Мельчука и других — то там, то сям, но до основательных сборников («Избранные работы», 1985; «Работы по поэтике», 1987) было еще далеко. Целый сборник (подготовленный и отредактированный Мельчуком) был загроблен в 1970-м году Н. С. Чемодановым и М. М. Гухман; Якобсону был выплачен договорный гонорар в сумме 840 рублей (примерно равной трем месячным зарплатам старшего научного сотрудника со степенью). И это при том, что на Западе в издательстве Mouton тем временем выходили его семитомные «*Selected Writings*».

Якобсон очень дорожил каждой публикацией на родине. Однажды он передал, что хотел бы получить экземпляр сборника «Структурализм: «за» и «против»» (1975), где, наконец, была напечатана в России (в переводе Мельчука) его программная статья «Лингвистика и поэтика», а в заглавии сборника слышался отзвук его полемики со Шкловским. Помню, как счастливы мы с Мельчуком были послать ему в подарок «что-то, чего — редкий случай! — у Вас нет, а у нас есть». В ответ он прислал изданный им и его учениками том писем Трубецкого.

Работы Якобсона в области как лингвистики, так и поэтики оказали на меня сильнейшее действие. В частности — идея (усвоенная мной через призму мельчуковской интерпретации), что наборы значащих грамматических категорий, различные в разных языках, образуют сетки значений, обязательных к выражению независимо от интенций носителей этих языков. Этот принцип я взял на вооружение как лингвистический аналог концепции поэтического мира (совместной со Щегловым), согласно которой поэтический мир есть система идиосинкратических для автора инвариантных мотивов, реализующая его центральный инвариант — единую тему его творчества. С запозданием прочитав классическую ныне статью Якобсона о пушкинском мотиве статуи, я обнаружил там многие из «своих» идей чеканно сформулированными еще в год моего рождения: статья была впервые опубликована по-чешски в юбилейном

пушкинском 1937 году и лишь в 1970-е годы вышла во французском и английском переводе; русского издания ей пришлось ждать до 1987 г.!

Особенно захватила меня задача осмыслить с точки зрения инвариантов подаренный мне разбор «Я вас любил», знаменитый своим вызывающим формальным ригоризмом, рассмотрев его, в частности, на фоне полемического контрразбора Шкловского (1969). Один из черновых вариантов своей работы я послал в Гарвард К. Ф. Тарановскому, с просьбой, если можно, показать Якобсону. Тарановскому статья не понравилась, о чем он со свойственной ему прямоотой мне и написал (отметив, что хороши в ней главным образом цитаты из Пушкина, «перечитать которого всегда приятно»); о Якобсоне же упомянул как-то глухо.

В 1976 году Тарановский проводил саббатикал (и отмечал свое 60-летие) в Москве. Он регулярно участвовал в Семинаре по поэтике, собиравшемся у меня дома, а всего через четыре года, осенью 1980-го, я в качестве новоиспеченного иммигранта оказался его гостем в Арлингтоне (рядом с Кембриджем, где расположен Гарвардский университет). Тарановский организовал мое выступление в Гарварде, и среди слушателей своей лекции — о поэтическом мире Пастернака, обильно уснащенной ссылками на Якобсона, — я с радостью, переходящей в смятение, увидел Р. О. и Кристину. Надо сказать, что их присутствие не было само собой разумеющимся (к этому времени Якобсон был уже на пенсии и находился в сложных отно-

шениях со своей бывшей кафедрой, Кристина же вообще работала не в Гарварде, а в МГТ) и потому было особенно лестным. А после доклада, имевшего смешанный успех (не исключаю, что отчасти из-за его проякобсоновского направления), Кристина пригласила меня, вместе с Тарановским, к ним на ланч в один из ближайших дней.

Тарановский реагировал на приглашение с какой-то преувеличенной радостью и смущением. В ответ на мои расспросы он в конце концов признался, что он этого не ожидал и что, значит, Якобсон меня «простил». Я был изумлен, ибо не знал за собой ни малейшей вины. Тарановский сказал, что теперь, наверно, он вправе открыть мне, что Р. О. был сердит на меня за попытку совместить в моей статье о «Я вас любил...» положения его анализа с конъюнктурными возражениями Шкловского. Как я понял, к этому времени само имя Шкловского стало в якобсоновском окружении своего рода табу, а уж упоминание о нем и о Якобсоне в одной и той же фразе было совершеннейшим кощунством. Тем драгоценнее становилось каким-то образом (благодаря эмиграции? добрым отзывам Иванова, Мельчука, Тарановского? установкам доклада?) заслуженное прощение.

Когда в назначенное время, к 12-ти часам дня, мы приехали в Кэмбридж, на Скотт стрит, 8, нас встретила Кристина. Самого Р. О. дома не было — рано утром он уехал выступать на какую-то конференцию (кажется, по проблемам языка, мозга и афазии) в одном из многочисленных соседних уни-

верситетов. Вскоре он появился, веселый, восьмидесятичетырехлетний. За столом я стеснялся и помалкивал, а они с Тарановским перебрасывались полусутовыми рассуждениями о том, кто более повинен в присуждении докторской степени и, значит, выдаче путевки в жизнь, одному из их общих учеников (*nomina sunt odiosa*), оказавшемуся большим — и очень занудным — якобсонианцем, чем сам Якобсон.

Постепенно осмелев (хотя дискуссия, свидетелем которой я только что оказался, должна была бы послужить мне предупреждением), я спросил Р. О., почему он по отдельности разрабатывает идею смысловых инвариантов, например, в статье о статуе, и идею грамматики поэзии, например, в статье о «Я вас любил...», но не сводит их в единую теорию инвариантных мотивов, предметных и стилистических. Он по-авгурски ответил в том смысле, что не все же делать самому, надо что-то оставить и другим. Я молча кивал, но про себя всерьез принял это как своего рода завещание. В дальнейшем я попытался развить соответствующую аргументацию в статье о пастернаковском «Ветре», писавшуюся с посвящением Якобсону, а вышедшую в 1983 году с посвящением памяти обоим — поэту и одного из его проницательнейших исследователей.

Больше я Якобсона не видел, но перед смертью он меня «благословил». Как мне рассказывали, его закулисный положительный отзыв («Надеюсь, в Корнелле на этот раз не упустят удачной

возможности», — повидимому, с намеком на неудачу со взятием туда Мельчука тремя годами раньше) сыграл свою роль в получении мною заветной tenure.

Закончу одним эпизодом слегка вне хронологии, относящимся, впрочем, к собственно американской жизни Якобсона и к посмертной судьбе его наследия. В 1975-м году в Америке вышла книга молодого постструктуралиста Дж. Каллера — критический обзор основных идей, направлений и фигур структурной поэтики (Jonathan Culler, «Structuralist Poetics», Cornell UP). Якобсону в ней была отведена целая глава, в которой сначала излагались, а затем подвергались деконструкции важнейшие положения его литературоведческой концепции. Главная мысль Каллера состояла в том, что научность якобсоновской теории, — как и всякой гуманитарной модели, претендующей на объективную истину по естественно-научному образцу, — остается проблематичной. Налицо якобы жесткая схема, подкрепляемая, однако, не доказательствами, а силой все той же интуиции, то убедительной, а то и не очень. Аспирантка из Корнелла, привезшая мне в подарок книгу Каллера, рассказала свежую академическую сплетню. Будто бы Якобсон позвонил Каллеру по междугородному телефону и целый час раздраженно выговаривал ему за непонимание его работ и некорректность аргументации. Меня в этой истории — при всех поправках на неизбежный шум в канале многократной изустной передачи — пора-

зило, что великому Якобсону, находившемуся в зените международной славы, оказалось столь важным мнение малоизвестного оппонента.

Телефон и впрямь оказался испорченным довольно сильно. Запрошенный недавно по электронной почте, Каллер сообщил мне, что история со звонком — апокриф. По его мнению, она явилась искаженным отражением уязвленно-язвительной полемики Якобсона с рядом его критиков-постструктуралистов, в том числе с ранним, журнальным вариантом его, Каллера, главы. В 20-страничном *Postscriptum*'е к французскому изданию своих работ по поэтике Якобсон обрушился на оппонентов, обвиняя их в эстетической глухоте, но ни одного из них не удостоил названия по имени.

Так или иначе, к середине 70-х годов в издательстве Мутон вышло уже три огромных тома «Избранных трудов» Якобсона. Его слова оказалось достаточно, чтобы на европейские языки была переведена проповедская «Морфология сказки», дожидавшаяся этого три десятка лет и вот теперь, благодаря Якобсону, наконец, обретшая новую жизнь. Известность Якобсона перешагнула далеко за рамки русской филологии (едва ли не во все отделы которой он внес свой вклад), да и общей лингвистики, поэтики и семиотики. К нему прислушивались инженеры-акустики, психологи, физиологи и антропологи, в том числе ставший его соавтором Леви-Стросс. Американские коллеги и аспиранты научились не коверкать его фамилию, и вместо напрашивающегося «Джейкобсон», ши-

карно, с сознанием причастности к таинствам европейской культуры, произносили ее с начальным «Йаа» (правда, ударным на английский манер). Почему же его так сильно задела критика Каллера и других?

Оставляя в стороне разговоры о по-русски авторитарном темпераменте Р. О., я хочу предложить несколько иное, отчасти интроспективное понимание ситуации. По целому ряду причин, признание — публикации, переводы, издания, собственная школа, высокая цитируемость — пришло к Якобсону сравнительно поздно. Свою роль тут сыграли и двукратная эмиграция (из России в Европу, из Европы в Штаты), и периферийность славистики на мировой лингвистической арене, и долгая борьба как с традиционной филологией, так и с другими ветвями структурализма (копенгагенской, американской), и неприятность в американском университетском истеблишменте, особенно тогдашнем, интердисциплинарной ориентации, трактуемой как дилетантизм.

Усугубляли положение его происхождение и специальность. Как эмигрант из Советской России, он был лишен возможности опереться на поддержку покинутой родины и даже бывших соратников — отсюда, возможно, и острота реакции на трусливые маневры Шкловского. А как русист и славист, свою борьбу за переворот в науке Якобсон вынужден был вести на одном из самых ее рутинных участков. Особенно это касается Америки, где преподавание русского языка и литературы было

делом разного рода полупрофессиональных выходцев из России (вспомним многочисленные набобковские шаржи на эту тему).

В результате, достигнутый, наконец, успех (в какой-то мере даже и на советском фронте) мог восприниматься им не только как заслуженный и завоеванный в упорной борьбе, но и как новаторский, дерзкий, ранний — «первый». Увенчанный лаврами мэтр (профессор Гарвардского университета, автор многотомного собрания сочинений, и прочая, и прочая) сочетался в Якобсоне с полным молодежного задора футуристом-революционером. Если угодно, в этом можно усмотреть еще одно проявление характерного для русской культуры отставания-ускорения, сделавшего, например, Пушкина классицистом, романтиком и реалистом в одном лице.

Такое совмещение этапов и самосознание борца с консервативной традицией оставляли Якобсона неподготовленным к критике, так сказать, слева, от представителей новой научной парадигмы, как бы из будущего, — критике, продиктованной не оборонительным рефлексом дремучего непонимания, а изощренной, усвоившей и релятивизировавшей уроки структурализма постструктурной рефлексией. Этому вторило, делая удар особенно чувствительным, то, что наносился он из области не отсталой славистики, а новейшей общей теории литературы, причем как раз тогда (в условиях достаточной опубликованности и распространенности основных трудов) и там (в книге

«постороннего» наблюдателя, озаглавленной «Структурная поэтика»), когда и где следовало, казалось бы, ожидать желанной, законной и окончательной канонизации структурализма, в частности, яacobсоновского. Открытым для пересмотра вдруг оказалось не только содержание, так сказать, семантика, его работ, но и их прагматика — ставшая уже привычной роль новатора в науке. Это могло болезненно подействовать на самый обнаженный экзистенциальный нерв его незаурядной личности.

После смерти Яacobсона (1982 г.) задача опубликования и популяризации его наследия легла на учеников во главе с Кристиной. Они справились с этим прекрасно. Но хранение огня уже ввиду своей по определению консервирующей природы редко бывает свободно от оборонительных тенденций к фракционности и мумификации. Впрочем, сегодня помнится не столько это, сколько часовой телефонный разговор (осенью 1986 года) через весь континент с Кристиной, уже знавшей о близости своей смерти и потому говорившей — о Яacobсоне, Маяковском, науке, себе, мне и наших спорах — с поистине последней прямоотой.

Глава, вписанная Р. О. Яacobсоном в историю науки, была оригинальной, многогранной, значительной, но — не последней. Еще при его жизни началось неожиданное переосмысление его наследия, причем не только в критически-негативном духе, но и в творчески-позитивном. Так, на первый план среди его работ по поэтике внезапно

выдвинулась работа о мотиве статуи в жизни и творчестве Пушкина, оказавшаяся созвучной постструктурному выходу из имманентного текста в разнообразные — психологические, биографические, мифологические, социальные — аспекты прагматики дискурса. Можно ожидать, что карта обследованных Яacobсоном территорий будет еще долго уточняться и перекраиваться, как под знаком его монологических предначертаний, так и под действием очередных волн непредсказуемой диалогизации, склонных тревожить вечный сон великих деятелей — ради продолжения разговора.

Яacobсон против этого, возможно, не возражал бы. Недаром среди его любимых произведений были «Медный всадник» и «Кроткая».

Мой первый real estate

Эмиграция из СССР, месяц в Вене, семестр в Амстердаме, переезд в Штаты — сначала в Итаку, а потом в ЛосАнджелес — все это порядком поиздержало мою готовность к переменам. Пословицная мудрость «Лучше два пожара, чем один переезд» не только советская. Российскому человеку трудно даются transitions. Я-то уж точно вышел из гоголевской «Шинели» — из того пассажа, где «при слове *новую* у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться».

Поэтому, например, на покупку недвижимости я за свои 20 лет в Америке был подвигнут толь-

ко дважды. Первая из них была облегчена той атмосферой почти соборной заботы, которой мы, новоприбывшие из-за железного занавеса, были окружены в тесно сплоченной Итаке. Получив в Корнелле тепуге и подталкиваемый домовитой женой, я нехотя, но все же решился, а все остальное взяла на себя популярная среди корнелльской профессуры агентша по торговле недвижимостью Кит Лэмберт.

Покупка дома в штате Нью-Йорк — не фунт изюма, тем более на новенького; это массивная операция, вроде высадки в Нормандии. Но постепенно дело завертелось, и через какое-то время мы остановили выбор на очень нам понравившемся, хотя и великоватом доме, после чего пошли всевозможные переговоры с агентшей, владельцами, их юристом, нашим юристом, работниками банка, различными инспекторами и т. п., а также хождение в гости ко многим из названных персонажей и к принявшим в нашем деле заботливое участие коллегам и знакомым.

Из людей, с которыми я столкнулся в этом светско-коммерческом водовороте, мне запомнился юрист по фамилии Буюкас — коренастый седой грек с выразительным профилем. Я с ходу, пользуясь остатками своих познаний в турецком языке, поддел его, спросив, почему же он, грек, носит фамилию турецкого происхождения (*biyyük* — по-турецки «большой»). Он охотно отпарировал, сказав, что его предок так успешно боролся с турками, что заслужил у них уважительное прозвище Большака.

Но вот подошел день подписания сделки, обозначаемого почти тем же престижным в американской культуре словом (*closing*, букв. «заккрытие»), что и развязка литературного сюжета, снятие психологической травмы и разрешение социального конфликта (*closure*). Как водится в развязке настоящей драмы (а что может быть реальнее *real estate*?), *closing* вывел на сцену всех действующих лиц, полный состав. Во вместительном зале в нижнем этаже банка вокруг гигантского стола собралось человек сорок причастных к операции, услуги которых оплачивались, естественно, из кармана покупателя. Был там и Буюкас, оказавшийся, к моему удивлению, юристом противной стороны.

Процедура была для меня внове, но я не особенно беспокоился. Все было согласовано-пересогласовано, с нами были Кит (которой, как агентше, предстояло заработать на этой сделке 6% стоимости дома) и наш юрист, да и вообще, как мне объяснили, предстояла чистая формальность, хотя и в торжественном исполнении. Но вдруг из речей Буюкаса я с тревогой уловил, что в плавное течение пьесы вплелся новый и вовсе не формальный мотив: какая-то очередная инспекция потребовала уплаты покупателем дополнительной страховки на сумму в две с лишним тысячи долларов ввиду несоответствия дома новейшим государственным инструкциям по антиасбестовой профилактике. Наш юрист попытался отклонить это требование, в дискуссию включилась Кит, кто-то предложил

разделить сумму поровну между сторонами, словом, каша заварилась.

Сумма, сравнительно с ценой дома, была не так уж велика. Но сама ее новизна задела меня за живое. Как я уже говорил, я не люблю нового. Не люблю я также отдавать деньги, сидеть на заседаниях и выполнять неведомые государственные инструкции. Нет у меня и привычки покупать дома. И уж совершенно не терплю я нарушения договоренностей. Я почувствовал, что меня охватывает праведный гнев, и решил дать ему сценически эффектный выход.

Я встал и сказал, что не заплачу ни цента выше условленной цены. Раздался хор возражений. В одно ухо Кит зашептала мне что-то об этике американского бизнеса, а в другое Таня стала оплакивать утрату уже мысленно обставлявшегося ею дома.

— Что же вы предлагаете? — спросил Буюкас.

— Всем присутствующим в этой комнате, — услышал я свой голос, — плачу я. Поэтому я предлагаю устроить перерыв, во время которого ими, я уверен, будет найдено приемлемое для них решение. В противном случае покупка не состоится.

Перерыв был сделан, и мы с Таней вышли на улицу подышать воздухом. Таня волновалась, и не без оснований. С моей стороны это был отчаянный блеф. В случае расторжения сделки мы теряли, а владельцы получали, залог (escrow), заранее внесенный нами в банк в качестве гарантии серьезности наших намерений, — больший, чем спор,

ная сумма (но, разумеется, несравнимо меньший, чем цена дома.)

Антракт оказался коротким. Нас позвали обратно в зал, и было объявлено, что достигнут компромисс: хозяева, агентша и юристы согласились поделить между собой уплату требуемой суммы.

Дом — в девять комнат! — мы купили и некоторое время им наслаждались; в нем гостили то Соколов, то Лимонов, устраивались parties, все как полагается. Буюкас, встреченный в гостях, пожал мне руку, сказав, что я достойный противник — здорово его тогда переиграл. Да, великодушно отвечал я, но вообще-то говорят, что где греки, там евреям делать нечего.

Через год мы с Таней разошлись, я переехал в Калифорнию, и Таня дом продала. А потом вместе с новым мужем купила другой, но вскоре пожалела о проданном. Он был, действительно, первый — и по порядку, и по размеру, и по красоте, а главное — по инициационной остроте переживаний.

Кому — кабельность, а кому — некабельность

В Корнелле я вел интенсивную академическую жизнь, посещал многочисленные общественные мероприятия и parties, «всех» знал и достиг высокого уровня visibility. В дальнейшем, при переходе в Университет Южной Калифорнии, я отказался от этой стороны своего имиджа и даже честно предупредил своих нанимателей, что второй раз театрализовать себя таким образом не намерен,

имея в виду попросту «cash in» (отоварить) уже имеющуюся репутацию: Корнелла — как более классного, Ivy League, университета и собственную — как его авантажного представителя.

Кампусные университеты (каковым является Корнелл) часто сочетают варку в собственном соку (добрая половина населения Итаки — студенты, профессора, сотрудники и деловые партнеры университета) с истерической нацеленностью на внешние контакты (командировки, прием знатных иностранцев, устройство конференций и т. д.). Активная светская жизнь в таком университете имеет свои преимущества. В Корнелле я за короткое время познакомился с Дерридой, Полем де Маном и Дмитрием Набоковым, слушал Башевиса Зингера и Борхеса, принимал своих давних знакомых Эко и Лимонова, подружился с лауреатом Нобелевской премии по химии — любителем русской литературы и сам чуть было не стал телевизионной персонэлитой.

Своеобразным проявлением корнелльской смеси самодостаточности с клаустрофобией стала введенная на моей памяти программа Professors at Large. Знаменитость в той или иной области культуры за огромные деньги приглашалась в Корнелл на одну-две недели, в течение которых выступала с публичной лекцией, проводила специальный семинар, встречалась со студентами и коллегами и, разумеется, включалась в светскую жизнь, ежевечерне подвергаясь операции wine and dine (*прибл.* «хлеб-соль», *букв.* «поить вином и кормить

обедом»). В году восемьдесят, если не ошибаюсь, втором в роли такого «вольного профессора» Корнелл посетил Микельанджело Антониони.

Он тогда только что снял свой новаторский в плане использования цвета фильм «Тайна Обервальда» (1980), который и привез показать. Фильма я скорее не понял (а из его отсутствия в новейших американских справочниках по видео явствует, что он так и не получил коммерческого признания), но это нисколько не уменьшило моего почтения к создателю «Blowup»'а и «Пассажира» (он же «Профессия: репортер»). И, конечно, я был польщен приглашением на обед в честь Антониони в дом к руководителю программы Professors at Large, видному корнелльскому физика Винаю Амбегаокару, представительному красавцу-индусу.

Антониони, которому тогда было 70 лет, оказался изящным седым джентльменом, державшимся со скромным достоинством, без какого-либо киношного или итальянского апломба. Это не значит, что он молчал и стеснялся. Начал он с того, что тихим голосом, но вполне по-светски, на уверенном английском, спросил:

— So, you all teach? («Значит, все вы преподаете?»)

За столом сидел десяток профессоров с разных кафедр, так что утвердительный ответ подразумевался. Гости закивали, ожидая продолжения, которое не замедлило последовать, опять-таки очень любезное, но содержавшее уже некоторый вызов:

— Как это вам удается? Я бы не мог.

Следует сказать, что английское *teach* совмещает значения бюрократически отчужденного русского «преподавать» и житейски непосредственного, но и амбициозного «учить», и Антониони явно имел в виду второе. В ответ посыпались резонные объяснения — каждый отрекомендовался профессором, преподающим определенные знания и умения и не усматривающим в подобном занятии почвы для экзистенциального беспокойства. Но Антониони оставался при своем недоумении относительно возможности — по крайней мере, для него самого — учить кого-либо чему-либо. Во мне, еще не вышедшем из воинствующе-структуралистского периода, его слова задели полемическую струну, и я решил перенести бой на его территорию.

— Но предположим, у вас есть ученик, почитатель, который хочет у вас поучиться и спрашивает совета, как снимать?

— Что же я ему посоветую? Ведь это его фильм, а не мой.

— Но, допустим, — тут я мысленно призвал на помощь дух Эйзенштейна-профессора ВГИКа, — он спрашивает вас конкретно, с какой точки, сверху или снизу, ему лучше снимать сцену, замысел которой он вам тут же объясняет? Неужели вы не подскажете ему, как лучше поставить камеру?

— Как я могу что-то сказать? Это его фильм, его жизнь...

Разговор продолжался еще некоторое время, но Антониони в полной мере оправдал свое рено-

ме апостола некоммуникабельности. Свое «не» он отстаивал ненавязчиво, но непреклонно.

Потерпев полное поражение — и впервые, может быть, почувствовав серьезность дотоле совершенно чуждой мне позиции, — я попытался взять реванш на другом участке. По поводу всем памятного вентилятора в комнате с трупом из фильма «Профессия: репортер» я спросил, нельзя ли понять его как вариацию на отмеченный многими кинокритиками мотив ветра, шевелящего листву в каждом из его фильмов, — как своего рода «ветер в помещении».

— Вы, наверно, никогда не бывали в пустыне, где это снималось. Без вентилятора там просто невозможно находиться.

Чему другому, а некоммуникабельности у него поучиться было можно.

Обед был долгий, сначала все сидели за столом, потом беседовали за кофе в гостиной и прогуливаясь по веранде, опоясывавшей весь дом, расположенный в живописном ущелье. (Известная корнелльская формула гласит: «Ithaca is gorges» — каламбур на gorge, «ущелье», и gorgeous, «великолепный».) Помню, как разговаривал с ним на этой веранде, наслаждаясь красотой антуража, неброской харизмой моего собеседника и сознанием причастности к моменту.

Последнее обострялось одной деталью события, выше пропущенной. В тот день к нам приехал погостить Саша Соколов, двумя романами которого я восхищался (это было до еще более бли-

стательной «Палисандрии») и с которым познакомился во время его выступления в Корнелле. Мне показалось заманчивым свести Соколова с Антониони и, набравшись наглости, я позвонил к Амбегаокарам. Они, однако, отнеслись к предложению привести Сашу прохладно, указав на очевидное и, с американской точки зрения, совершенно беспардонное short notice (предупреждение в последнюю минуту). Мои настояния, подкрепляемые заверениями о Сашином величии, они отвели ссылкой на ограниченное число мест за столом. Таня предложила было остаться дома, уступив свой прибор Саше, но это уже пахло Достоевским, и мы отступились.

Так не состоялся еще один потенциальный акт некоммуникации. А было бы интересно при нем присутствовать. Саша ведь тоже не умеет преподавать, изъясняется на серьезные темы в основном письменно и в некой палисандровой маске, а последние полтора десятка лет вообще молчит, скрывается и таит. Хочется думать, что они поняли бы друг друга без слов, для чего, впрочем, не нужно встречаться. К этому в конце концов пришел и я — уже после Корнеллы.

Процесс исследования

Однажды, когда у нас с Таней в Итаке гостил мятежный писатель Э., писавшая о нем коллега-американка пригласила нас всех к себе на ужин. Еда, питье и беседа у жаровни под открытым небом

разворачивались неторопливо, но постепенно набирали градус, отчасти обостряясь ввиду супружеских трений между мной и Таней, неизбежных в этой заключительной стадии нашего брака, но скорее излишних для дружеского литературного застолья. В остальном мы вроде бы «сидели хорошо», когда хозяйка, наклонившись ко мне, вдруг вполголоса сказала по-английски:

— Алик, почему бы Вам не поехать домой?

— Я не против, но вы же знаете, я не вожу машину. Надо спросить Таню.

— Таня, почему бы вам не поехать домой?

Таня сказала, что она готова в любой момент, но надо спросить Э.

— Вы поезжайте, — отвечала хозяйка, — а Э. пусть еще останется, я потом привезу его сама.

— Э., так что, мы поедим? Она тебя потом привезет.

Но Э. проявил неожиданную для него приверженность коллективу:

— Да нет, куда вы заторопились, посидите еще, скоро все поедим.

При таком раскладе долго сидеть, естественно, не пришлось, и вскоре мы трое откланялись. В машине я спросил Э., что же он, вопреки своей шумной репутации, не остался. В чем дело — хозяйка не в его вкусе?

— Главное, — отвечал писатель, — не хотелось бы помешать процессу исследования.

Несмотря на деликатность и даже металитературность этого ответа, Таня, видимо, почувство-

вав себя невольной свидетельницей разговора в мужской бане, а может быть, и в развитие своих претензий ко мне в частности и мужчинам вообще, сдавленно пробормотала что-то вроде «Ах, вы черти!» и отчаянно погнала машину. Э., автор крутых сюжетов со стрельбой и мордобоем, несколько напрягся, отдавая должное происходящему, и головой показал мне на Таню, дескать, утихомирь свою бабу. Я произнес какие-то увещания, но Таню они еще больше распалили. Было ясно, что я не только не вожу машину, но и не имею власти над водительницей.

Доехали мы, тем не менее, благополучно, и вообще ничего, как говорится, не случилось. Пережив несколько острых, в духе писательской манеры Э., моментов, все вернулись каждый в свою колею. Впрочем, не совсем. Мы с Таней вскоре разошлись, катализатором чего послужил если не этот эпизод, то само присутствие Э., безжалостно обнажающего, в литературе и в жизни, реальную подоплеку экзистенса. По той же причине оборвался, увы, и драгоценный процесс исследования, которому Э., хотя привычке милой и не дал ходу, все-таки, видимо, помешал.

Безнадёга

Свою работу в Корнелле я начал на птичьих правах. Сначала — в престижной, но очень временной роли старшего стипендиата (Senior Fellow) Общества гуманитарных наук (Society for the Humanities),

затем — во временной же должности на русской кафедре, замещая ушедшего в отпуск преподавателя. Превращение этих внештатных позиций в постоянную профессорскую ставку (tenure) было делом непростым, при всем расположении ко мне декана колледжа Алена Сезнека (Alain Seznec), заведующего кафедрой русской литературы Джорджа Гибиана и других коллег. Впрочем, я был полон оптимизма, подкреплявшегося по-русски гипертрофированным представлением о собственной ценности, и увлечен перспективой проведения семинара по все еще полузапретному на родине Пастернаку. Советские цепи были мною успешно потеряны, предстояло обретение всего мира. На этом фоне американская озабоченность получением tenure казалась мне удручающе мелкой. (Не забуду слов одного корнелльского коллеги: «Вот решается мое продвижение из доцентов в профессора [from Associate to Full Professorship]. Если повысят — ну что ж, так и надо, но если *не* повысят — какое унижение!» Повысили.)

Джордж меня, кажется, понимал, но не упускал из виду и административного аспекта моих первых шагов. Он заботливо справлялся о том, как идет семинар, кто его посещает, доволен ли я, довольны ли слушатели. Я рапортовал, что слушателей много (9?): практически все аспиранты русской кафедры плюс один очень сильный студент выпускного курса (senior), да еще два профессора: один — англичанин с английской кафедры, а другой — какой-то технарь. Англист русского языка

не знает, но вместе с коллегой-русистом переводит стихи Пастернака и в семинаре очень активен.

— Это, наверно, Джон Столуорти (John Stallworthy), — угадал Джордж. — Он известный поэт и уважаемый профессор. Надо будет, чтобы он написал официальный отзыв о семинаре.

— Я думаю, он напишет. Он симпатичный, мы часто ходим вместе на ланч в Стэттлер Инн, и он консультируется со мной по поводу своих переводов. Ему очень хочется выпрямить Пастернака, ибо «по-английски так сказать нельзя», а я все твержу ему, что в том-то и фокус, что по-русски тоже нет*.

— А кто этот профессор с технического факультета?

— Точно не знаю. Такой незаметный, маленький. Он подошел ко мне перед началом, представился на ломаном русском языке и попросил разрешения ходить. Но умный — соображает неплохо...

— Узнайте фамилию. Надо будет и у него взять отзыв.

После очередного занятия я, извинившись, переспросил имя, фамилию и профессию «технаря» и затем доложил Джорджу:

— Он химик. Его фамилия Хофман (Hoffmann).

— Хофман? Неужели *Роальд* Хофман?!

* Книжка переводов вышла в 1983 году: *Boris Pasternak. Selected Poems*. Trans. Peter France and John Stallworthy; наши беседы помянуты там добрым словом.

— Да-да, Роальд, я еще подумал — одно из викингских имен, захваченных евреями: Гарольд Блум, Роальд Хофман.

— О, это выдающийся ученый. И он любит помогать диссидентам.

— Да, он сказал, что он из Польши. Кстати, он лучше всех в классе понимает мои структурные схемы, иногда и меня поправляет.

— Его отзыв был бы очень кстати.

С Роальдом Хофманом мы подружились. Его интересы далеко не ограничивались химией. Пользуясь возможностями, предоставляемыми университетом, и знанием нескольких европейских языков, он иногда «брал» тот или иной гуманитарный курс. Так, на следующий год после Пастернака он посещал семинар по «Фаусту» у видного корнелльского гётеведа Блэколла.

Между тем, заготовка бумаг шла своим чередом, и вскоре под чутким руководством Джорджа, а также благодаря собранным мной приглашениям на работу в другие университеты — доказательствам моей конкурентоспособности, заветная tenure была получена, а в придачу к ней еще и должность заведующего довольно склочной кафедрой.

Но не об этом речь. Однажды в неурочное время меня вызвали на кампус. Машину я тогда еще не водил и потому спросил, насколько это срочно.

— Приезжайте скорей. Роальд Хофман получил Нобелевскую премию!

Я вскочил на велосипед и к Бейкер Лэб — зданию химического факультета — подъехал уже с готовой поздравительной формулой.

Огромный зал был полон. Сверкали юпитеры — снимали для телевидения. Была расстелена красная дорожка. Среди группы деканов и другого начальства выделялся тучный седой старик, физик-атомщик Ганс Бете (Hans Bethe), до тех пор единственный корнелльский нобелевец. Откуда-то издалека (из Австралии?) были привезены сестра и мать Роальда. Сам он стоял посередине всего этого гала-спектакля и, смущенно улыбаясь, принимал поздравления. Премию он получил вместе с каким-то японцем, но пополам делилась лишь сумма, лауреатом же он был полным. Подошла моя очередь.

— Роальд, я поздравляю вас, а главное — себя, ибо теперь я всегда смогу говорить, что преподавал (taught, букв. «обучал») одного Нобелевского лауреата другому.

Наша дружба на этом не прекратилась — Роальд не загордился. А во время одной из поездок в Москву, еще до перестройки, он даже отвез что-то моему папе, порадовав его высоким уровнем моих знакомств, но встревожив сообщением, что внизу его ждет черная «Волга».

Продолжалось наше общение и после моего переезда в Лос-Анджелес. Джордж и некоторые другие коллеги жалели о моем отъезде; кое-кто, насколько я понимаю, даже обиделся. А Роальд, в книжке стихов, изданной после получения пре-

мии, обратил ко мне целый стихотворный призыв вернуться из пошловато-солнечной Калифорнии «домой» в Итаку.

Я не вернулся, но во время своих визитов в Южную Калифорнию Роальд звонил, мы встречались, он приходил к нам с Ольгой на parties... Кроме того, он присылал свои статьи, то самостоятельные, то соавторские, на темы, пограничные между химией, культурологией и Талмудом. И — напряженно ожидал их обсуждения. Я, как мог, проявлял интерес, похваливал, но явно недостаточно. Я вчуже понимал его, ибо и сам жажду внимания к своим работам. Однако в человеке, достигшем, казалось бы, уже всего, такая неутоленная потребность в одобрении поражала и настораживала.

После его очередного визита в Санта-Монику с настойчивой демонстрацией очередного опуса до меня вдруг дошло:

— Надеяться абсолютно не на что, — сказал я Ольге. — Смотри, даже Нобелевка не помогает.

Ars poetica

Одновременно со мной старшим стипендиатом Общества Гуманитарных Наук в мой первый корнелльский год был моложавый, но уже известный английский литературовед модного марксистско-бахтинского толка Терри Иглтон (Eagleton). Ритуал Общества требовал, чтобы «старшие» выступали перед «младшими», в противном случае жаловавшимся на невнимание. Иглтон снизо-

шел, но вместо доклада по теории литературы предложил спеть балладу собственного сочинения на ту же тему, — что и сделал. Он носил длинные волосы, расшитые ковбойские сапоги и какую-то по-битловски длиннополую шинель, так что гитара в его руках выглядела вполне к месту. Я, все еще исповедовавший вывезенную со структурно-семиотической родины веру в торжество Науки, с одной стороны, и в священную недосыгаемость Поэзии, с другой, слушал с молчаливым отвращением. Слов у меня, как и у остальных слушателей, действительно, не было — не отвечать же презренной прозой!

Сознаюсь, что, несмотря на выработанную, хочется думать, за последние пару десятков лет терпимость, меня и сегодня коробит при воспоминании. Если подумать, среди классических образцов литературного теоретизирования были и стихотворные — Горация, Буало, Верлена, и все же, для того ли формалисты рассохлые топтали сапоги и выясняли, как сделана «Шинель»?!

Профессиональная кухня

На заметный скачок в зарплате американский профессор может рассчитывать в основном в переходные моменты: при поступлении на работу, при повышении в ранге, при переходе из одного университета в другой, а также при *не*переходе — в обмен на отказ от выгодного предложения со стороны, настоящего или умело организованного.

Нормальные ежегодные прибавки, как правило, незначительны, зависят от экономического положения страны, штата и университета, иногда сводятся к поправке на инфляцию и в любом случае практически съедаются пропорциональным, а то и прогрессивным возрастанием налога. В эти рутинные периоды я теряю интерес к происходящему, но на переломах мое внимание обостряется.

На Западе первый такой опыт был связан у меня с переездом из Голландии в Штаты. (Мотивы этого переезда — тема особая: я исходил из общей идеи, что эмигрировать нужно в страну эмигрантов — Америку.). В Амстердаме я получал солидную по тем временам зарплату, в Корнелле же мне предлагалась несколько меньшая, но зато престижная стипендия на полгода, а затем временная же и еще более скромная должность Assistant Professor'a с перспективами на повышение в будущем. Я написал устраивавшему все это Джорджу Гибиану, что получать немного меньше денег я некоторое время согласен, но начинать американскую академическую карьеру с ассистентской должности считаю неправильным. Он ответил, что разделяет мою самооценку, и мы сошлись на оформлении меня в качестве Visiting профессора. По приезде в Итаку превращение этой более звучной должности в постоянную и полную профессорскую потребовало некоторых усилий, в частности, добывания конкурентных приглашений из других мест, но прочная основа была заложена именно

такой чисто терминологической, казалось бы, работой с номенклатурной семантикой.

Переход из Корнелла в USC — Университет Южной Калифорнии (происходивший по сугубо личным причинам) был сопряжен со значительным повышением зарплаты, необходимым ввиду большей дороговизны жизни и возможным благодаря более скромному рейтингу USC, вынужденного подкупать сманиваемых профессоров. Мне, однако, удалось внести в эту музыку сфер оригинальную собственную ноту.

Перед показательным выступлением на кафедре меня повели на ланч в Faculty Center — профессорский клуб. Мне все было внове, начиная с калифорнийского климата (была первая половина января, но градусник показывал 108° по Фаренгейту — более 40° по Цельсию) и кончая общим видом и архитектурой кампуса и клуба. Я глазел по сторонам, рассеянно улыбался и, как мог, поддерживал беседу.

Вел ее декан Колледжа Литературы, Искусств и Наук, профессор сравнительного литературоведения Дэвид Мэлоун. Усадив вокруг меня приглашенных на ланч ведущих коллег, он с предупредительностью гостеприимного хозяина-гурмана стал объяснять мне, что кухня у них в клубе преимущественно мексиканская — с тех пор, как в должность вступил новый шеф-повар.

— Ну как же, — включился я, — Оскар Мендоса.

— Так вы уже знаете? Каким образом?

— Ну, во-первых, я имею обыкновение быть хорошо информированным о том, с чем имею дело, — так, я знаю названия книг всех присутствующих. А во-вторых... я прочел его фамилию на медной дощечке, вывешенной в коридоре. Я бывший лингвист, и вообще у меня хорошая оперативная память.

Я был вознагражден общим смехом, однако для его перевода в долларový эквивалент потребовалось время и дальнейшее везение.

Еда оказалась приличной, но не более того; я не был, да так и не стал любителем мексиканской кухни. Мое выступление прошло успешно, и я уехал; переговоры о приглашении на работу постепенно продвигались, предстояла решающая встреча с деканом. Он как раз объезжал восточные штаты и предложил заехать в Итаку, чтобы встретиться со мной. Я заказал ему номер в корнелльском Стэтлер Инн и обед на 6 вечера. Он должен был прилететь еще днем, но позвонил сказать, что из-за зимней непогоды рейс задержался.

Я пришел в ресторан вовремя, объяснил, что гость запаздывает, ходил справляться в администрацию отеля, но его все не было. В какой-то момент, кажется, в 9, ресторан начинает закрываться, новых заказов уже не принимают, и я стал нервничать. Но где-то в половине девятого Мэлоун, наконец, появился, прямо с мороза, и рассказал, что самолет так и не вылетел, но он взял напрокат машину, несколько часов ехал сквозь пургу,

и вот он здесь. Я подозвал отчаявшегося было уже официанта, и мы стали заказывать.

Следует сказать, что Корнелл славится многими достижениями, но едва ли не более всего своим Гостиничным факультетом (Hotel School), входящим в первую десятку в мире. А Стэтлер является для этого факультета своего рода опытной базой. Студенты, подрабатывая там, получают профессиональные навыки, аспиранты проходят практику, профессора руководят гастрономическими проектами. Поэтому молодой человек, подошедший принять у нас заказ, был не простым официантом, а аспирантом, работавшим над темой, которая была одновременно и темой ресторанного меню на этот вечер, а именно, местной кухней какого-то южного штата в начале века.

Какого — не помню, но невозможно забыть того потрясающего совпадения, что это был тот самый штат и даже тот самый город, где родился мой будущий декан, человек, как мы помним, внимательный к вопросам кулинарии. Между ним и официантом завязалась эзотерическая беседа знатоков, и о близившемся закрытии ресторана было забыто. Выбор блюд продолжался неимоверно долго, несколько раз уточнения вносил сам профессор — научный руководитель нашего официанта, дежуривший в этот вечер по ресторану. Заказанная еда тщательно готовилась, торжественно приносилась, детально дегустировалась и обсуждалась...

На разговоры о работе и зарплате времени практически не осталось. Декан назвал некую сум-

му, я потупился, он прибавил пять тысяч, я упомянул о калифорнийском real estate, он напомнил об итакских снегопадах, и тогда я зашел с козырной карты. Переведя взгляд со стола на аспиранта и профессора, я сказал:

— Но вы же видите, чего я лишуюсь?! Это вам не Оскар Мендоса.

Он накинул еще пять, и я стал калифорнийцем.

Unfortunately, бля

Стихи Коржавина я знал со времен «Тарусских страниц», а с ним самим познакомился только в Калифорнии, году в 83-м или 84-м, когда он гостил у Паперных в Санта-Монике. Ольга же подружилась с ним еще раньше, в ходе организованной ею конференции по литературе «третьей волны» в Лос-Анджелесе (1980).

Коржавину было приятно, что я помню наизусть его стихи, и он объявил меня своим парнем; мы даже перешли на «ты». Но с моим структурализмом он примириться не мог. Полагаю, что дело не только в конкретных разногласиях, каковые действительно имеются. (Так, Коржавин вообще не жалуется славистов, литературоведов и прочих паразитов на теле литературы; на дух не принимает он и моей любви к поэзии Лимонова: «Чего уж там, персонажи пишут», — припечатал он однажды.) Задним числом я пришел к мысли, что тут работает некая общая стратегия: предъявляя собеседнику тот или иной идейно-политический

счет и тем самым вызывая у него чувство вины, Коржавин как бы обращает его в моральное рабство, позволяющее далее потребовать от него, выражаясь словами Остапа Бендера, множество мелких услуг. Поэтому поддержание обвинения носит принципиальный характер, требуя от Коржавина быть постоянно начеку.

— Эма, — говорил я ему, улучив момент, когда он находился в добром расположении духа, — давай я у тебя буду на роли хорошего структуралиста. Знаешь, как у антисемита может быть жена-еврейка, у расиста — друг-негр?

— Нет, — бдитительно спохватывался Коржавин. — Хорошего структуралиста быть не может. Человек ты неплохой, но добро и структурализм — две вещи несовместные.

Коржавин уехал, а потом через какое-то время позвонил Ольге с просьбой о помощи. Его жена (тогда главный источник доходов в семье) теряла работу в Гарварде (ее ставка преподавателя языка не допускала продления), и он спрашивал Ольгу, нет ли где-нибудь в американской славистике преподавательского места. На нашей кафедре как раз проходил конкурс на замещение такой должности, и Ольга предложила жене Коржавина подать документы, что и было сделано. Последовал рутинный процесс поиска кандидатов, которым занималась уже не Ольга — завкафедрой, а специально созданный комитет. Но ни один из кандидатов не удовлетворил членов комитета, и никто принят на работу не был, о чем всем и были разос-

ланы корректные письма с комплиментами и сожалениями.

Прошло еще некоторое время, и Вадик Паперный позвонил сказать, что только что говорил по телефону с Коржавиным, который очень сердит на нас с Ольгой, и нам следует немедленно с ним связаться. Он дал бостонский номер Коржавина, мы позвонили и услышали знакомый брюзжащий захлеб:

— Ну, что такое, понимаешь? Ну, не вышло, ну, позвоните, как люди, скажите, не вышло. А это что? Сначала приглашают, а потом? Письмо, понимаешь, на бланке, понимаешь, по-английски... Unfortunately, бля... Разве это по-нашему?..

Пришлось долго неискренне каяться по телефону, а потом долго нести фальшивое бремя вины. Но все это с лихвой окупалось обретением могучей формулы, вышедшей из творческой лаборатории мастера.

Кстати, упор Коржавина на «нашенские» ценности слышится и в органично сросшемся с ним псевдониме. Взят он был, конечно, в годы, когда поэту с фамилией Мандель рассчитывать было бы не на что. Но это не просто первая попавшая русская фамилия. В ней видна марка той же поэтической мастерской: и непритязательные *корж* и *ржавная корка*, и мужественный налет *ржавчины*, и фонетическая рецептура Маяковского (*Есть еще хорошие буквы: Эр, Ша, Ща*), и некое *державинское* эхо. (Интересно, не в Коржавина-Державина ли метит фамилия Марамзин?)

Маразм + Карамзин — это даже посильнее Кармазинова Достоевского.)

В общем, старик Коржавин нас заметил и, в гроб сходя, обматерил. Ну, насчет гроба это так, к слову. Только что в Питере, на двухсотлетних пушкинских торжествах, он был в добром здравии и читал под аплодисменты зала.

Чайная церемония

Году в 84-м в Стенфорде проходила конференция по славистике, на которой я выступил в новой для себя роли феминиста. Мой доклад (ранняя версия «Прогулок по Маяковскому», акцентировавшая его женоненавистничество) имел определенный успех, но не с ним оказался связан самый для меня интересный — и самый загадочный — эпизод конференции.

В перерыве ко мне подошел лысоватый с бородкой человек российско-еврейского вида. Он назвал меня по имени-отчеству, представился и предложил зайти к нему в кабинет, расположенный в том же здании. Его фамилия показалась мне смутно знакомой, немного времени у меня было, отказ мог бы прозвучать высокомерно, и я согласился, про себя любопытствуя, зачем я мог ему понадобиться.

Мы зашли в его офис, он предложил чаю, я поблагодарил, но отказался. Он стал называть общих знакомых — все диссидентского толка, я поддерживал разговор, как мог, по-прежнему не понимая, куда он клонится.

Хозяин упомянул Александра Гинзбурга, мою первую жену — «мисс Арину» Гинзбург, Солженицына (и его вторую жену, с которой я был когда-то знаком в Москве) и вновь предложил поставить чайник. Я сказал «спасибо, не надо» и спросил его о его работе, немного беспокоясь, что может последовать какая-нибудь бестактная или невыполнимая просьба, но сознавая, что чему быть, того не миновать.

Он оказался математическим экономистом, изучающим советский демографический кризис. Ставку в Гуверовском институте, как он дал понять, он получил благодаря поддержке Солженицына. Таким образом, о потребности в помощи со стороны моей скромной персоны дело, скорее всего, не шло. Но тем более интригующим становился тайный смысл происходящего.

За упоминанием о Солженицыне опять неукоснительно последовало предложение чая. Но я извинился, сказав, что мне пора бежать на заседание, попрощался, и на этом мы расстались.

Загадка странной чайной церемонии занимала меня еще долго. Время от времени я рассказывал о ней коллегам, но никто не мог пролить на нее свет, — пока я, наконец, не поставил эту проблему перед П. Она тогда все дальше уходила от чистого литературоведения в его психиатрические и социологические ответвления, и я, кажется, поддразнил ее, сказав, что, мол, вот вам test case для применения ваших методов.

К тому времени я уже забыл фамилию демографа, но она легко ее восстановила:

— А-а, понятно, — сказала она. — Это был Б.?

— Да, теперь вспоминаю. Так чего же он от меня хотел?

— Он, как вы правильно заметили, хотел угостить вас чаем.

— Но зачем ему это было нужно?

— Дело в том, что из числа сотрудников Центра лишь немногие удостоены так называемых «чайных привилегий» — права, несмотря на строгости пожарной охраны, держать в офисе электрический чайник. Принадлежность к этой почетной категории требует непрерывной демонстрации, но, видимо, со всеми сколько-нибудь знакомыми коллегами он это уже проделал. Тут-то вы и подвернулись.

Возразить было нечего. Социопсихология кругом себя оправдала.

Полировка личности

С Майей Каганской я познакомился летом 1984 года в Иерусалиме, на Международном пастернаковском симпозиуме. Я заочно знал ее по блестящим эссе и книге «Мастер Гамбс и Маргарита» и вот увидел лично. В ней все было внушительно — фигура, нос, низкий голос, ядовитое красноречие.

Как-то мы оказались вместе в лифте, и я спросил, чем она занималась в России, где я о ней вроде бы не слышал.

— В России я исключительно полировала свою личность, — сказала она своим кокетливым ба-

сом. — И, отполировав, решила преподнести в дар Западу.

Присутствие в лифте славистов — представителей осчастливленного Запада — ее не смутило.

Поэтика недоверия

Виталик Гринберг, мой давний приятель по эмиграции — человек многих качеств: плейбой, семьянин, делец, растратчик, спортсмен, весельчак, ипохондрик. Он чадолюбив и остроумен, но, в отклонение от пушкинско-шекспировской формулы, не скуп, а, как бы это сказать, недоверчив. Если за всем этим разнообразием скрывается какая-то одна мания, то это недоверие к окружающему. Он постоянно ожидает, что его обманут. Поэтому с ним хорошо идти к автомобильному дилеру, где он мастерски сбивает цену, но не в ресторан, где он долго портит вам аппетит подозрениями относительно свежести мяса и в конце концов устраивает скандал с требованием вернуть деньги — money back! А посещение общественной уборной он превращает в показательную гигиеническую пантомиму на тему о правильном порядке пользования туалетной бумагой и дверными ручками, сопровождаемую соответствующими нравочениями.

Но вот мы сидим в совершенно безопасной обстановке, за ланчем у общих знакомых. Я принес им в подарок свою книгу, и Виталик листает ее. Я скромно пытаюсь переменить разговор, дескать,

ну написал и написал, книга специальная, поговорим о чем-нибудь интересном для всех. Но Виталик не выпускает книги из рук. Я, конечно, втайне доволен и тем более могу позволить себе полное безразличие.

— Что ты там нашел?

— Эта книга мне нравится.

— Книга по литературоведению — схемы рифмовки, мотивы, интертексты... Тебе-то что?

— Ну, как же. Вот смотри: «На первый взгляд, по сюжету здесь имеет место обычная... Однако, если вдуматься...» Наебон! На первый взгляд, одно, а в натуре ничего подобного! Типичный наебон, и ты выводил их на чистую воду. Нет, эту книгу я хочу читать!

А ведь и правда: все подтексты и глубинные структуры, все подсознание и сублимация, весь семиотический проект, да чего там, вся Наука как таковая и все гносеологические метания между вещами в себе и для нас — все это, в конце концов, не что иное, как одна бесконечная попытка разоблачить мировой наебон, называемый *human condition* («человеческим состоянием»). Или все-таки прав Эйнштейн, и Бог изощрен (*raffiniert*), но не наебывает?

Сравнительное литературоведение

В середине 90-х годов я попал на ежемесячное заседание объединения славистов, живущих в Нью-Йорке и окрестностях. Доклад профессора Энто-

ни Энемони (*Anemone*), с сильным деконструктивным привкусом, посвященный толстовским «Казакам», привлек внушительную аудиторию — человек пятьдесят литературоведов и историков из ведущих университетов.

Деконструкцию я недолюбиваю, наверно, потому что недопонимаю, а «Казак» не читал, руки не дошли. Это не помешало мне включиться в дискуссию и оспорить какие-то из утверждений докладчика, произведя достойное впечатление как на него, так и на слушателей. После доклада вся компания по традиции отправилась в близлежащий китайский ресторан.

А наутро я улетел назад в Лос-Анджелес и через день уже присутствовал на заседании нашего кафедрального семинара, где выступал А. В. Лавров (ныне член-корр.) с анализом автобиографической подоплеки «Серебряного голубя» Белого. Этого романа, я тоже не читал, и мне показалось заманчивым не просто выступить в прениях, но и провести параллели между двумя текстами, к чему я был более чем подготовлен прослушанными докладами.

Эксперимент удался, напомнив мне сдачу экзамена по зарубежной литературе XX века на филфаке МГУ сорока годами раньше. Я тогда выгащил билет с датским соцреалистом Мартином Андерсеном-Нексё и, не читавши ни одного из его романов, развернул перед экзаменатором сопоставительный анализ сразу двух — «Пелле-Завоевателя» и «Мортена Красного». Преподавая сейчас рус-

скую литературу в Калифорнии, я иной раз ловлю на подобных трюках своих желторотых студентов и, прежде чем поставить кол (F), не забываю похвалить их за интеллектуальную инициативу, отличающую будущих литературоведов.

И в самом деле, успех этих провокаций вовсе не свидетельствует, как может показаться, о научной несolidности литературоведения. Напротив, если последнее чем и отличается от «настоящих» наук в невыгодную сторону, так это обязательностью знакомства с художественными текстами и вообще первоисточниками. Физики, химики, биологи, не говоря уже о математиках, спокойно работают с фактами и формулами, установленными их предшественниками, и лишь филологи считают делом чести вручную перелопатить как можно большую массу накопившегося за века сырья.

Расщепление личности

Одна коллега, И., занимавшаяся самоубийствами в литературе, поступила, для расширения психиатрического кругозора, волонтершей на hot line — службу телефонной помощи людям, находящимся в экстремальных ситуациях, в основном самоубийцам. Впрочем, дело не всегда шло о смерти, иногда и о любви. Все-таки Калифорния.

Как-то раз звонит взволнованная девушка. И спрашивает:

- Что случилось? Чем могу помочь?
- Кажется, меня изнасиловали.

— Простите, не совсем поняла. Вас изнасиловали или вам кажется?

— Так вот я и звоню узнать, что́ это было. Вы же специалист...

Тут все на месте — телефонный сервис, дежурный консультант, бесстыдство «жертвы», юридический словарь-минимум. И полное отсутствие собственного мнения по самому, что называется, личному вопросу, а вместе с тем ясность, что ответ может быть получен из соответствующей профессиональной инстанции.

Сплошное «мы»/»они» и никакого «я». А ведь Калифорния, Запад — дальше не бывает.

Парадокс тем забавнее, что лейтмотивом всей постшестидесятичной культуры в Америке является установка на being in touch with your feelings — контакт со своими чувствами. Разумеется, провал заранее запрограммирован четким делением «я» от «feelings».

Но оставим дежурный антиамериканизм. Отчуждение от собственных желаний, отправлений и даже частей тела — почтенная литературная универсалия. Возьмем классический лимерик:

*A young man from the banks of the Po/
Found his cock had elongated so,
That when he'd pee/
It wasn't he,
But only his neighbors who'd know*
(Молодой человек с берегов По/
Обнаружил, что его член удлинился настолько,
/ Что, когда он мочился,
/ То не он,
А лишь его соседи знали об этом).

Этот гиперболический образ наглядно, так сказать, на пальцах, проясняет сходные построения более возвышенной лирики. Например — то отстранение лирического «я» от собственных интересов, которым пронизано «Я вас любил...» Пушкина: *Но пусть она [моя любовь] вас больше не тревожит; / Я не хочу печалить вас ничем.*

Хочется, однако, хэпши-энда. Пушкин начинает с контакта, а кончает амбивалентным самоотмежеванием. Позитивный вариант, наоборот, начинался бы с тревожной неопределенности, а кончался счастливым воссоединением. Например:

На Екатерину II, прогуливающуюся по царскосельскому парку, сзади набрасывается пыльный гвардеец.

– Кажется, нас ебут?

– Преображенского полка поручик такой-то, Ваше Императорское Величество!

– Продолжайте, капитан, продолжайте.

Вот это, действительно, контакт with one's feelings, и нет нужды перегружать телефон.

Гальциона

Интертексты дошли до меня не сразу. В семиотическом истеблишменте о них заговорили еще в 60-е годы, когда нас со Щегловым занимало порождение отдельного текста (и системы мотивов) одного автора. Я долго не принимал Бахтина и недо-

оценивал интертекстуальные работы Тынянова. А над любителями цитатности посмеивался как над представителями особой «остзейской» школы, имея в виду прибалтийское расположение Тарту, где группировались Левинтон и Тименчик, а также рижское происхождение последнего и эстляндское — К. Ф. Тарановского (отец которого был до революции ректором Дерптского университета).

Прозрел я уже на Западе. В академическом плане сыграло роль знакомство с теориями Блума и Риффатерра — современными вариантами формалистского учения о пародии и литературной эволюции. А житейски сказались автомобильные поездки по Европе, пресловутые камни которой проинтертекстуализованы до предела.

Обратившись, я по-неофитски бросился в другую крайность — стал видеть подтексты повсюду и с энтузиазмом настаивать на их программности. (Недавно Щеглов передал мне слова М. Л. Гаспарова: «Если Александр Константинович решит что-нибудь связать, то можно не сомневаться, — свяжет».) Василия Аксенова я так замучил выявлением у него неизвестных ему самому подтекстов (в частности, из бабелевской виньетки о Казанцеве, знавшем все замки в Испании, ср. Дрожжинина с его Халигалией в «Затоваренной бочкотаре»), что однажды он не выдержал и дал мне сдачи. Он спросил, читал ли я «Ожог», и если да, то не оттуда ли почерпнул некоторые свои идеи о Зошенко. Заглянув в соответствующую главу романа, я обнаружил там обещанный подтекст, на который, как

честный офицер, и сослался при следующей оказии.

Но совершенно хрестоматийный урок такого рода преподнесла мне сама Жизнь — в своей роли Тотального Текста.

В сентябре 85-го года мы с Ольгой путешествовали по Испании. Маршрут был проложен на высоком культурном уровне: Барселона — Гранада — Толедо — Сан-Себастьян; в конце пути намечался Париж. Помимо очевидных Сервантеса, Эль Греко, Гауди, Дали, мавров, Карла V («римского императора», который столь металингвистически «говаривал» в учебнике родной речи) и проч., над автопробегом витали Ильф и Петров и Хемингуэй. Словом, в интертекстуальном фоне недостатка не было.

Но оставалось как будто место и для нехитрых речей практического ряда. В какой-то момент Ольга, теплолюбивая калифорнийка, стала с беспокойством приглядываться к появившемуся на горизонте облачку, опасаясь дождя и кутаясь в приготовленный на этот случай плащ. Решительно подавив в себе школьные реминисценции из «Капитанской дочки», я ответил, что это пустяки, здесь тепло и хорошо, но едем мы, действительно, на север, дело идет к осени, и неизвестно, какая погода в Париже, где нас могут ожидать холод, ветер и дождь.

Прошло, наверно, полчаса, прежде чем я сообразил, что я сказал. Почти слово в слово я подал знаменитую реплику Лауры из «Каменного гостя»:

*Приди – открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет [.....]
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»
А далеко, на севере – в Париже –
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует. –
А нам какое дело?..*

Надо сказать, я не только знал этот пассаж, но и читал разнообразные комментарии к нему пушкинистов и даже сам писал о нем. Так что особый российский кайф по поводу северности Парижа при взгляде из Испании был мной давно отрефлектирован. И хотя я мог поклясться, что говорил в простоте душевной, тут-то, как сказал бы Зощенко, он, интертекст, и подтвердился. (Как подтвердился и О. Бендер: «Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: «Я помню чудное мгновенье...»... И только на рассвете... вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин!»)

Подавленный, но и польщенный пожатьем каменной десницы Гипертекста, я с ближайшей же бензоколонки отправил М. Л. Гаспарову (в холодную, еще не тронутую перестройкой Россию) короткий отчет о случившемся. В ответ я по истечении времени получил цветную открытку: изображение незнакомой большеголовой птицы с мощным клювом и пышным хохолком, как гласила подпись, — зимородка. Следовала приписка от руки: «За кораблем виляла Гальциона...»

Это была строчка из «Тени друга» Батюшкова, и таким образом я нарекался «другом», причем покойным, являющимся во сне. В этой посмертности не было, впрочем, ничего макабрического. В 85-м году все еще оставалась в силе формулировка того же Бендера: «Заграница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не возвращается», обыгрывающая известную гамлетовскую. Дополнительную связность диалогу придавали батюшковские упоминания о ночи, страже, севере и погодных условиях, воспринимаемых одновременно с южной, древнесредиземноморской, точки зрения (на Англию как на «туманный Альбион») и с русской, нордической (на север как на нечто «любезное»):

*Я берег покидал туманный Альбиона;
Казалось, он в волнах свинцовых утонул,
За кораблем виляла Гальциона,
И тихий глас ее певцов увеселял [...]
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов, —
Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал...*

Батюшковский эпиграф из Проперция (о душах усопших, ускользающих от смерти, победив костер) являл сигнатуру Гаспарова как античника, но меня больше заинтересовала Гальциона. В примечаниях к одному изданию Батюшко-

ва она толковалась попросту как «чайка», а к другому — несколько богаче, но тоже уклончиво: «Здесь — чайка, по имени женщины, согласно мифу, превращенной в морскую птицу, чтоб сопровождать утонувшего мужа». Миф имелся в виду греческий и к тому же разработанный Овидием («Метаморфозы», XI, 410 — 748): об Алкионе, одной из нескольких в мифологическом репертуаре, а именно — дочери Эола и жене/вдове потерпевшего кораблекрушение Кеика. (Ее тезка, другая Алкиона/Ал(ь)циона, дочь Атланта и океаниды Плейоны, стала возлюбленной Посейдона, а потом вместе с сестрами образовала созвездие Плеяд).

Как далее выяснилось, дезориентирующее «Г» (латинское H) в начале ее имени, по-видимому, возникло (в духе тыняновского Кижэ) из смешения значков для разных типов придыхания (в моем греческо-английском словаре прямо сказано: «halcyon with h is a wrong form»). Оно проникло в латынь и европейские языки и присутствует как в названии соответствующей птицы (лат. *halcyon* = *alcyon* = *alcedo* = англ. *halcyon* = *kingfisher* = рус. *зимородок*), так и в выражении *halcyon days*, «безмятежные дни» (греч. *halcyonides*), связанном с античным же представлением, что штиль, устанавливающийся на море на две недели вокруг дня зимнего солнцестояния (то есть, как раз сейчас, когда я пишу это в солнечной предновогодней Санта-Монике и океан действительно тих), объясняется тем, что боги даруют его зимородку, который — в согласии

чие удобно смазывается также употреблением обобщенного единственного числа, одного на двоих: *ambo alite mutantur*, букв. «оба превращаются в птицу». По другим источникам, оба становятся зимородками. Наконец, согласно третьим, Алкиона обращается в зимородка, а Кеик — в чайку, что соответствует греческому значению его имени (*Сеух* = «морская чайка»; но заманчивая этимология *чайка* < *keyk-s*, к сожалению, некорректна: оба слова имеют звукоподражательное происхождение, но каждый свое; как сообщает запрошенный по электронной почте Старостин, греческому *keyk* соответствует в русском не *чайка*, а... *сова*). Союз чайки с зимородком создает серьезные проблемы межвидового скрещивания, каковые, впрочем, лишь контрастно оттеняют преодолевающую все преграды силу любви (ведь и наказаны-то богами Алкиона и Кеик были, по одной из версий, за переоценку своей любви — за то, что называли друг друга Герой и Зевсом), ну и, конечно, могущество богов.

Все это и многое другое обильно комментируется в литературе. И все вроде бы примиряется Пушкиным (инкогнито — так сказать, во сне — явившимся мне невдалеке от Гвадалквивира). «Пушкин, — сообщает комментатор Батюшкова, — заметил об этой элегии: «Прелесть и совершенство — какая гармония»».

Пушкиным же неожиданно гармонируется и один не вполне разрешенный в нашей с Ямпольским книге о Бабеле вопрос — о названии издатель-

ства («Альциона»), которым владел муж героини «Гюи де Мопассана» Бендерский. Бабель, по-видимому, пародировал, с утрированным еврейским налетом (*Аль-Цион* = др.-евр. «на Сион, в Иерусалим»), название символистского издательства «Алконост», принадлежавшего еврею Самуилу Алянскому. Это тем более вероятно, что слово *алконост* — не что иное, как искажение старинного русского речения «алкион есть птица», где *алкион* — все тот же зимородок. Но, метя в одну алкиону, Бабель вольно или невольно попал в другую. Подобно Бендеру (с его «Чудным мгновеньем»), Бендерский повторил уже бывшее в русской литературной традиции название альманаха, издававшегося в начале 1830-х годов бароном Розеном и названного по имени самой яркой звезды созвездия Плеяд, то есть, «другой» Алкионы. В «Альционе» печатались поэты пушкинского круга и сам Пушкин (в частности, там в 1832 году — ровно за сто лет до «Гюи де Мопассана» — появился «Пир во время чумы»), но не Батюшков, к тому времени замолкший. Впрочем, было издательство «Альциона» и в 1910-е годы, так что Бабель, возможно, вообще ничего не придумал, и вся проблема не стоит выеденного яйца.

А возможно, что М. Л. Гаспаров просто намекнул мне, что ездить надо меньше, а читать больше. (Еще в 88-м он писал мне, что отказался ехать на мандельштамовскую конференцию в Бари, ибо «слишком привык к железному занавесу и потому не ездок».) Или вообще спугал меня со Щегловым,

писавшим о «Метаморфозах» всерьез. Упомянул же он как-то в разговоре со мной о некоем мифическом «Щегловском». Не этому ли птицевидному гибриду был адресован назонистый зимородок на открытке?

Интертексты умеют много гитик.

«Мы»

Преподавая в 1987 году в Констанце, на юге Германии, я некоторое время жил в загородном доме отсутствовавшей коллеги (Ренаты Лахманн) и ездил в университет на ее машине. В первый же день за рулем я пришел в ужас от настырности немецких водителей. Этими впечатлениями я поделился с коллегами по кафедре.

— Наверно, — сказал я, стараясь держаться корректно, — я чего-то недопонимаю? Может, статистика катастроф не такая плохая?

— Статистика ужасная.

— Тогда в чем же дело? Или у вас агрессия в крови, и вам кажется, что вы на танке? Так все равно войну-то выиграла мы!

— Вы? А кто «вы»?

Вопрос был поставлен грамотно. Все-таки передо мной сидели не какие-то вообще «фрицы», а слависты, филологи, семиотики. Я нашелся:

— Кто «мы»? Мы, русские, мы, американцы, и мы, евреи!

Этим массирующим ударом в немецкий поддых я прекратил дискуссию, но вопрос о том, кто

«мы» такие, так просто, конечно, не решается. В моей западной жизни наболевшая российская проблема национальной идентичности возникала неоднократно и в разных поворотах, заряжаясь от трения об иностранную среду. Так что мой быстрый ответ был подготовлен давним осознанием того, что из России я уехал по еврейской линии, в Америке воспринимаюсь как русский, а в Европе схожу за американца.

Как-то в придорожном ресторане посреди английской глубинки я разговорился с остряком-барменом. Для разминки он спросил меня, откуда я. Я предложил догадаться по акценту. Он принял игру:

— Not from the colonies? («Неужели из колоний»?)

Это был образцово проинтонированный британский put-down («опускание»), но в нем крылась возможность интересного продолжения.

— Увы, наоборот, — из страны, которая не имела такого счастья.

Ему это ничего не сказало, и из словесного спарринга я вышел, если угодно, победителем.

Взгляд на нашу родину как на страну, не сподобившуюся побывать английской колонией, отражает определенный слой российского самочувствия. Raison d'être целой серии в свое время популярных у нас «английских» анекдотов («Робинзон Крузо: А вот это — другой клуб, в котором я принципиально никогда не бываю»; «Чем это здесь воняет, Джон? — Свежим воздухом, сэр»; и т. п.) — подспудное лордство российского интеллигента.

Лордство тайное, заемное, но тем более сладостное. И не исключительно российское, подтверждением чему — американский еврейский анекдот, похожий на наши «английские». Перескажу его, комментируя в скобках непереводимую игру акцентов, на которой он держится.

Сара идет по Нью-Йорку, видит элегантного джентльмена, подходит к нему и спрашивает:

— Мистех, где вы купили этот костюм, галстук, цилиндр, зонтик? В «Сэкс, 5-я Авеню»? [американский еврейский — бруклинский — акцент]

— Нет, мэ, в Лондоне, в «Хэрродз» [британский акцент].

Сара идет домой, описывает Абраму одежду англичанина («костюм, галстук...» [брукл.]), велит собираться, они едут в Лондон. В «Хэрродз» Сара требует для Абрама «костюм, галстук...» [брукл.], продавцы приносят, меряют, подгоняют. Наконец, Абрам — во всем английском, как вдруг Сара видит, что он плачет.

— Абхам! Что ты плачешь? Смотри, на тебе этот костюм, галстук и т. д., что ты плачешь? [брукл.].

Абрам, глядя в зеркало:

— Мы потеряли Индию [с британским акцентом, отличным не только от бруклинского, но и от любого американского, в произношении обоих ключевых слов: «по-

теряли» (lost, с очень закрытым «о») и «Индия» («Инджа»)].

Этот анекдот запал мне в душу, и однажды я рассказал его «настоящему англичанину». Им был мистер Филлипс, профессор английского языка в Байрейтском Институте Иностранных Языков, где немецкие друзья устроили мне, неимущему эмигранту (в первый мой европейский семестр, осенью 1979 г.), лекцию. Лекция изобиловала структурно-семиотической терминологией, и когда дело дошло до вопросов, мистер Филлипс, с изысканными до манерности интонациями оксфордского «дона», спросил:

— Do we really need a meta-language? («Действительно ли нам нужен метаязык?»)

Устав от сомнений в пользу науки еще в России, я обратил на мистера Филлипса накопившийся запас иронии, причем постарался облечь ее в «британские» тона.

— Это зависит от того, кто «мы». Если «мы» — рядовые читатели, то метаязык нам ни к чему. Если «мы» — специалисты в области литературы (критики, литературоведы, преподаватели), он может быть полезен, хотя «мы» этого, как правило, не подозреваем. Если же «мы» — теоретики литературы, метаязык совершенно необходим.

Мистер Филлипс не обиделся и вечером в ресторане (насколько помню, греческом) был со мной предупредителен, помогал выбирать блюда и учил различать сорта пива. Осмелев, я рассказал ему

анекдот про Абрама, потерявшего Индию, и выразил надежду, что его, мистера Филлипса, сердце не истекает по ней кровью. Ответ прозвучал столь идеально по-британски, что я так и не знаю, говорил ли мистер Филлипс всерьез или автопародийно играл в британского пост-империалиста:

— Our hearts don't bleed. Theirs do. («Наши сердца не кровоточат. Их — да»).

Кстати, индусы, сожалеющие о постепенной утрате британской культуры, действительно, есть. Ну, а «нам» остается оплакивать то, чего у нас никогда и не было.

Таксист и синтаксист

За годы научных занятий языком сомали и работы с ним на Московском радио, я в общем овладел его сложной грамматикой и приобрел довольно приличное произношение (по словам сомалийцев, я говорил с арабским акцентом, — и то хлеб). Что касается словарного запаса, то он у меня ограничивался лексическим минимумом бытовой разговорной речи плюс те две сотни газетных клише, с которыми Московское радио обращалось к адресатам своей пропаганды. В эмиграции, выбрав из своего по-советски ренессансного репертуара карьеру «слависта», я стал постепенно забывать как лингвистику, так и сомали, особенно его словарь.

Одна из ежегодных славистических конференций проходила в Вашингтоне, и так случилось, что

несколько человек с нашей кафедры возвращались в Лос-Анджелес одним и тем же рейсом. Мы решили взять одно такси, и поскольку занялся этим я, то я и сел на место рядом с водителем. Трое коллег расположились сзади, за стеклянной перегородкой, как в театре, точнее — как в немом кино.

Соседство с таксистом — мощный текстопорождающий топос. Таксисты многоопытны, философичны и разговорчивы; общение с ними четко обрамлено в пространстве и времени и спроецировано на фон меняющихся за окном декораций. Возникающие при этом дискурсивные сценарии часто непредсказуемы.

Один из лучших фильмов 90-х годов, «Ночь на земле» Джима Джармуша (Jarmusch), построен как серия из пяти новелл о поездках на такси в разных столицах мира. Замечательные «Записки таксиста» были несколько лет назад опубликованы в «Звезде». Первое смутное осознание близящегося крушения советской империи пришло ко мне где-то в конце 60-х годов, когда я удачно поймал такси, освобождавшееся прямо перед моим сквериком, а вместе с ним — реплику таксиста, обращенную вслед предыдущему пассажиру:

— Чего никто не хочет понять, это что в ближайшее время деньги будут платить только за непосредственные услуги. В стране есть ценные работники, но у правительства нет способов выловить их из общей массы, отличить от бездельников. Поэтому оплачиваться будут только прямые услуги.

Этот философ от баранки, носатый пожилой еврей, оказался инженером, окончившим несколько институтов, но сознательно переквалифицировавшимся в таксисты и частные водители. Он сказал, что зарабатывает таким способом большие деньги.

В разных хронотопах таксисты рекрутируются из разных групп населения: в Париже 20-х годов это были русские дворяне, в Нью-Йорке 70-80-х — бывшие советские евреи. В Вашингтоне 80-х годов, о котором идет речь, таксистами работали всевозможные выходцы из Африки.

Одного взгляда на нашего водителя мне было достаточно, чтобы узнать в нем сомалийца. Для проверки я тихим голосом произнес стандартное сомалийское приветствие (Ma nabad baa?). Он на это и бровью не повел, как будто ничего не было сказано. Я повторил те же слова громче; он понял, что я обращаюсь к нему, но явно недоумевал, с чем. Видимо, машина обработки языковой информации включается не раньше, чем человек осознает, что имеет место ситуация общения на известном ему языке. Лишь после моего третьего захода водитель, не знавший, чему верить — глазам или ушам, согласился наконец счесть меня за сказавшего что-то по-сомалийски и произнес ответную формулу (Waa nabad!).

Разговор постепенно завязался. Сразу же обнаружилось, что мне не хватает самых элементарных слов. (Эмигрировав, я вообще заметил, что, находясь в среде одного иностранного языка,

очень трудно активизировать словарный запас другого, пусть даже не особенно забытого.) Однако закон Ципфа сыграл свою роль — новых слов требовалось все меньше, уже употребленные повторялись все чаще, и я все увереннее пускал их в грамматический оборот.

Одновременно я наблюдал за растущим недоумением собеседника, озадаченного разрывом между скудостью моего словаря и жонглерской ловкостью обращения с ним. На его глазах моя речь, начавшаяся в лексическом отношении почти с нуля, насыщаясь, как вампир, кровью его реплик, расправляла чем дальше, тем шире, свои грамматические крылья. Богатый потенциал сомалийского синтаксиса редко находит себе применение в устной речи, я же принялся выстраивать сложнейшие периоды из главных и придаточных предложений, личных и безличных конструкций, изъявительных, сослагательных и отрицательных (есть там и такие) форм, проецируя на сомали всю талмудо-греко-латинскую мощь европейской риторики и возводя целые готические соборы ажурных языковых структур, хотя и простейшей словесной кладки.

Пантомимический аспект диалога был, по-видимому, достаточно эффектен, ибо привлек внимание коллег. Они приоткрыли окошечко в перегородке и пытались понять, что происходит.

Увы, моим стрелчатым построениям суждено было остаться сугубо воздушными. Мой новый знакомец надавал мне телефонов своих соотече-

ственников в Лос-Анджелесе, но я так и не собрался им позвонить, и мой сомалийский словарь улетучился почти с такой же скоростью, с какой внезапно соткался из эфира на пути в аэропорт. Разве что коллеги, ставшие свидетелями неожиданного перформанса, были на некоторое время *duly impressed*.

Это я . . .

Стихи Ахмадулиной, особенно в ее исполнении, я любил смолоду (мы сверстники). Я слышал ее по радио, видел по телевизору и был на одном из ее выступлений (в Комаудитории старого МГУ, на Моховой), но знаком с ней не был. Хотя у нас, конечно, были общие приятели, включая одного моего многоречивого сокурсника (в дальнейшем видного политолога), утверждавшего, что в десятом классе у них был роман, а также одного зубно-врача, тоже порядочного хвастуна. Личного знакомства с Ахмадулиной мне пришлось дожидаться до второй половины 80-х годов, когда она, вместе с мужем, Борисом Мессерером, одной из первых после прихода к власти Горбачева приехала в Америку и провела неделю в Лос-Анджелесе.

К этому времени ее облик, как литературный, так и физический, несколько поблек под действием Хроноса вообще и Бахуса в частности, но объектом восхищенного внимания, как литературоведческого, так и человеческого, она для меня оставалась.

Это было самое начало перестройки, в которую она, как, впрочем, и большинство эмигрантов, не желала верить, и я (вспоминаю это с гордостью) пытался защищать от нее Горбачева. Члены нашего небольшого интеллигентского кружка почти в одном и том же составе по очереди принимали ее у себя, так что я мог наблюдать ее довольно близко. А впереди ожидалось ее сольное выступление перед массовой русскоязычной аудиторией.

Первая встреча произошла в доме общей знакомой, у которой они с Борисом остановились. Это был то ли ранний ланч, то ли поздний завтрак, и Ахмадулина была уже слегка навеселе. Я отрекомендовался ее давним почитателем, преподающим в местном университете русскую литературу, то есть, подразумевалось, представителем ненавистной ей корпорации:

*[Я...] опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед [...]
жена литературоведа,
сама литературовед [...]
Ведь перед тем, как мною введать,
Вам следует меня убить..*

Разговор зашел о появившемся накануне в лос-анджелесской «Панораме» целом подвале, специально присланном Аксеновым из Вашингтона. Газету принесли, Борис стал читать.

Статьи у меня нет под рукой. Помню, что в ней, среди прочего, рассказывалась легендарная исто-

рия с туплей, которую на обеде в Тбилиси в честь делегации московских писателей Ахмадулина запустила в сказавшего какую-то совсем уж невыносимую советскую мерзость соотечественника (Фирсова?), когда увидела, что мужчины решили смолчать: грузины — из гостеприимства, собратья-москвичи — из осмотрительности. Особый шик аксеновского панегирика состоял в том, что он (не помню, целиком или только в кульминационном эпизоде) был написан ритмической прозой, вероятно, в контрапункт к известному ахмадулинскому фрагменту о встрече с Пастернаком, где в момент его появления — после строчки: *Норифмовать пред именем твоим?* — стих переходит в прозу.

Мессерер, однако, как ни в чем не бывало читал с обычной, монотонно-торопливой газетной интонацией, дескать, ну, ясное дело, хвалит тебя Вася, ну и что? Я вмешался:

— Вы не так читаете.

— Что значит не так? А как надо?

Я взял газету и стал читать, скандируя. Ахмадулина оживилась и сыграла роль вечно обижаемой:

— Вот, ты всегда все неправильно передаешь. Если бы не наш досточтимый гость, я бы и не узнала, что Вася мне стихи написау..

— Видите, Белла Ахатовна, — подал я приготовленную реплику, — и литературоведы на что-то годятся...

Через несколько дней принимать Ахмадулину была наша очередь. В какой-то момент я подсунул на подпись уже изрядно выпившей гостье экземп-

ляр ее «Снов о Грузии» (несколько скомканная дата под посвящением прочитывается как 19 марта 1987 года). А перед самым ее уходом осмелился, наконец, задать давно заготовленный провокационный вопрос.

— Как вы относитесь к Ходасевичу?

— Хорошо, хотя, наверно, не все знаю. А почему вы спрашиваете?

— А вот эти стихи вы знаете? — Я взял с полки и стал читать «Перед зеркалом»: *Я, я, я. Что за дикое слово!...*

Ахмадулина слушала внимательно, и, уж не знаю, вопреки ли или благодаря винным парам, эксперимент, поставленный по всем правилам полевой лингвистики, удался на славу. Без каких-либо уверток она сразу, самым трогательным и обезоруживающим образом, хотя и с искренним удивлением, приняла подразумевавшееся предположение о подтексте ее стихотворения «Это я...», написанного тем же размером.

— А что?! Знаете — может быть!..

На другой день было ее выступление, и так получилось, что ехала она в моей машине. Мы вспомнили ее вчерашнее признание, и я стал рассказывать ей, как впервые услышал «Это я...» году в 76-м, в Москве, по телевизору, когда передавался целый ее поэтический вечер. Я был один дома, «Это я...» (тогда еще не тронутое для меня влиянием Ходасевича) читалось, кажется, в самом конце и исторгло у меня слезы. Пришедшая вскоре Таня, обнаружив их следы на моих щеках, долго проха-

живалась на ту тему, что, вот, мол, оказывается, эта бездушная структуралистская личность может все-таки над чем-то плакать. Интересно, что через некоторое время телевизионный концерт был повторен, и те же стихи опять безотказно произвели свое слезоточивое действие.

Когда мы подъехали к огромному центру, снятому под концерт, вход осаждала толпа, спрашивавшая лишнего билетика, а внутри нарасхват раскупались сделанные какими-то предприимчивыми людьми ксерокопии десятка ахмадулинских стихотворений — под автограф.

В эффектном брючном костюме, на каблуках, подтянутая и очаровательная, Ахмадулина читала великолепно. Она начала с новых стихов, потом перешла к старым, которые аудитория знала. Я ждал, дойдет ли очередь до «Это я...», и внутренне любопытствовал, какое действие оно на меня окажет. Очередь, наконец, дошла, но, произнеся: *Это я – в два часа пополудни Повитухой добытый трофей...*, Ахмадулина запнулась, извинилась и начала с начала. Это повторилось и во второй раз, и лишь с третьего захода она прочла стихотворение до конца. Потому ли или по чему другому, но я прослушал его спокойно, не проронив ни слезинки.

На обратном пути она сказала:

— Я подумаю о вас и сбиуась.

Так литературоведение в моем лице вторично вторглось в ее творческую жизнь, на этот раз уже банальным — палаческим — образом.

Собственный Платонов

История получила неожиданное продолжение, когда вскоре в Лос-Анджелес приехал Юрий Нагибин, в свое время женатый на Ахмадулиной. По дороге на его выступление в нашем университете мы разговорились, и я рассказал ему историю с «Это я...». Он реагировал с неожиданной горячностью:

— Ходасевича Белла прочла в нашем доме! Раньше она его вообще не знала!

Про себя занеся это свидетельство в свои анналы, вслух я переменял тему. Впрочем, по сути она осталась той же, а вскоре вернулись и мотивы литературного дома и новооткрытого влияния запретных мастеров.

Я сказал Нагибину, что в связи с его приездом я перечел некоторые его вещи, в частности, давние, знакомые мне со студенческих лет, когда они были литературными новинками, и что впечатление оказалось во многом ностальгическим повторением старого, но в одном парадоксальном отношении новым. В его текстах 50-х годов я вдруг отчетливо почувствовал присутствие Платонова, в свое время незримое — ввиду тогдашнего моего незнакомства с первоисточником.

Нагибин охотно подтвердил мое наблюдение. Он сказал, что Платонов был кумиром его юности, причем кумиром, знакомым ему лично, поскольку часто бывал в гостях у его отчима — писателя Я. С. Рыкачева. Обнаружение платоновского

субстрата не только не задело Нагибина, но даже обрадовало.

Вообще, он показался мне широким человеком. Так, он сказал, что с удовольствием прочел «Палисандрию» Саша Соколова. Я спросил, готов ли он напечатать положительный отзыв о ней в эмигрантской «Панораме», и он согласился, хотя времена были еще довольно неопределенные.

В Лос-Анджелесе он гостил у Андрея Кончаловского, который пригласил его работать над сценарием планировавшегося фильма о Рахманинове. Но из этого проекта, кажется, ничего не вышло.

ПОСВЯЩАЕТСЯ С.

Профессор З. читал Борхеса. Он читал его в самолетной полудреме между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, и многообразная пограничность его состояний, надо полагать, была неслучайной. Не говоря о таких банальных двойственностях, как движение из точки А в точку Б, подвешенность между небом и землей и зыбкость переходов от сна к яви и обратно, усугубляемая чехардой часовых поясов, навсегда, казалось бы, остановившей время где-то посередине между полуднем и полночью, сомнительным было все вообще.

Прежде всего, профессор З. не был настоящим профессором и лишь играл роль полного профессора славистики по принципу наименьшего сопротивления обстоятельствам, в которых оказался в эмиг-

рации. Не был он, собственно говоря, и профессором З.: этот инициал, используемый здесь для поддержания иллюзии художественного вымысла, был продуктом обратного перевода с языка новой родины на его родной, — еще одной защитной пленкой, или если угодно, тефлоновым покрытием, позволявшим сочетать эффекты присутствия и отсутствия. Так что кто читал Борхеса в панаме-риканских сумерках, оставалось под вопросом.

И что значит «читал»? Во-первых, уже сама форма этого глагола позволяет догадываться, что читал, но вряд ли дочитал. (Так оно, по сути, и было, хотя, с другой стороны, сколько требуется прочесть, чтобы оправдать употребление совершенного вида?) Тем более, что Борхес автор, как говорится, трудный. Превосходя по лаконизму рассказы Хемингуэя и Бабея, по повествовательной и интеллектуальной насыщенности его тексты напоминают книги Пруста или сочинения современных пост-структуралистов. Дочитать короткий рассказ Борхеса не легче, чем отменно длинный модернистский роман. Профессор З. прочитал один рассказ целиком, в середине второго погрузился в дремоту, вынырнув из которой с ангельской кротостью начал третий, но тоже отложил. Впрочем, все три оставили одинаково сильное впечатление, освобождая от необходимости доканчивать и тем самым оспаривая самый принцип замыкания, столь дорогой структуралистам, к которым обычно причисляли и профессора З., и столь же ненавистный сменившим их разрушителям.

Поскольку речь упорно заходит о литературоведческих школах, уместным будет сказать, что профессор З. должен был отдавать себе отчет и в проблематичности самого понятия чтения. Согласно теоретикам читательской реакции, чтение наполовину состоит из сочинения, читатель становится как бы соавтором писателя, по-своему заполняя оставленные для него пустоты и истолковывая недоговоренности, — и только потому так охотно, хотя и на определенных договорных началах, отождествляет себя с текстом. Профессор З., еще недавно практически незнакомый с Борхесом, немедленно начал превращаться в него и в то же время наблюдать за этой метаморфозой. Право не столько читать Борхеса, сколько писать его, подтверждалось самим Борхесом, в одном из неоконченных (профессором З.) рассказов которого ставился вопрос, «не являются ли страстные поклонники Шекспира, посвящающие себя какой-нибудь одной шекспировской строчке, в буквальном смысле слова, Шекспиром?» Профессор З. с удовольствием присоединился к намечавшемуся триумvirату («Гомер, Мильтон и Паниковский — тоже мне теплая компания», предостерегающе прозвучало где-то на заднем плане, напомнив о той бездне относительности, которой окружены у Борхеса подобные абсолютные пики — ориентиры горного полета ангелов).

Действительно, как мог читать и писать Борхеса, а, значит, и быть им, какой-то лже-профессор псевдо-З., когда и сам без пяти минут нобелев-

кий лауреат на вопрос, он ли является знаменитым Борхесом, отвечал «Иногда», и в каждом из трех полуосиленных профессором З. рассказов нашел повод подчеркнуть, что писавший их Борхес это не совсем тот Борхес, который в них фигурирует? Тут профессор З. вспомнил, что в свое время он видел настоящего живого Борхеса, когда тот выступал на набоковском симпозиуме, проходившем в университете, где, в свою очередь, в свое (собственное, с нашей точки зрения, плюсквамперфектное), время профессорствовал Набоков, а тогда, то есть, одновременно с симпозиумом, преподавал профессор З., в некотором роде играя таким образом роль квази-Набокова. Сенильный, полу-слепой, но сыпавший бодрыми парадоксами в ответ на вопросы из рекордно переполненного зала Борхес, был, разумеется, не только не тем Борхесом, которого теперь с таким запозданием пытался читать профессор З. (а тогда еще не читал вовсе), но, в сущности, и не тем, на которого рассчитывали организаторы симпозиума, ибо он то ли не читал, то ли делал вид, что не читал ни строчки Набокова, и уж во всяком случае ни разу о нем не обмолвился в своей двухчасовой беседе с аудиторией. С другой стороны, он в каком-то смысле, конечно, был Набоковым, отчасти потому, что многим походил на него и его книги, а главное, потому, что родился в 1899 году, том же, что и Набоков, что позволяло последнему с помощью относительно несложных (по понятиям, скажем, Пьера Безухова или Велимира Хлебникова)

арифметических выкладок отождествлять себя со своим великим предшественником, тоже не дожившим до получения Нобелевской премии. Кстати, этому предшественнику принадлежала известная мысль, что в свободное от творческой работы время писатель представляет собой совершенно другую личность, нежели в момент вдохновенного служения музам. Иными словами, как мог бы, вторя Борхесу, но с особым, ему одному присущим энергическим лаконизмом и какой-то суворовской, что ли, выправкой в голосе, выразиться любимый герой и alter ego писателя С., иногда!

Наглядной иллюстрацией этого принципа поэтической неопределенности как раз и служил профессору З. его частичный, а точнее, уменьшительный (и общий с великим предшественником) тезка писатель С., у которого он гостил незадолго до своего столь творческого полета из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Писатель С., часто признаваемый продолжателем, а иногда (!?) и — и абсолютно безосновательно — эпигоном Набокова (главным образом, потому, что за свой первый роман он удостоился предсмертного благословения мэтра), был одним из немногих доступных прямому наблюдению профессора объектов его исследований. Однако настойчивые попытки интервьюирования — у себя дома и у него в гостях, наедине и при посторонних, за столом, на лыжне, в сауне, где угодно — несомненно свидетельствовали, что допрашиваемый С., начисто отрицающий знакомство с многочисленными, по мысли профессора З., родствен-

ными писателю С. произведениями русской и мировой классики и то ли прикидывающийся в своем запирательстве таким дурачком-второгодником, то ли уж и впрямь неспособный без бумажки связать двух слов о литературе, и загадочный С. — автор трех, наверное, самых красноречивых за всю историю отечественной словесности романов, никак не могли являться одним и тем же лицом, разве что очень и очень иногда.

Так или иначе, предупрежденный профессором З., что каждое его литературное показание может быть использовано против него, и потому (но не исключено, что при всем при том по всей правде) старательно открещивавшийся от связей с Набоковым, писатель С. неожиданно обронил имя Борхеса, с которым, как мы понимаем, а он вряд ли подозревал, его роднило общее у обоих незнакомство с Набоковым. Это было тем пикантнее, что Борхес, только что купленный, но еще ни в каком смысле не открытый профессором З., был у него с собой и, значит, незримо присутствовал при разговоре — на манер Григория Сковороды, завернутого в оренбургскую шаль (тогда еще тефлоново непроницаемым для пекла западной действительности, ибо героически державшимся национальных рамок) Лимоновым и в таком виде фланировавшего, внимая тому, что о нем говорилось, по на деле лишь предстоявшему им обоим, а пока что сугубо текстуальному Парижу. Покупка этой книги произошла при следующих обстоятельствах.

Оказавшись в Нью-Йорке и на литературном вечере увидав издали своего знаменитого соотечественника поэта Б. (тоже иногда служившего объектом его научных изысканий), профессор З. решил купить недавно вышедшую книгу эссе, написанных Б. прямо на языке «Ромео» и «Лолиты», но попытки найти ее в трех больших магазинах в центре Манхэттена не увенчались успехом. Профессора посылали из отдела в отдел — новинок, классики, беллетристики, биографий, документальной прозы — книги нигде не было. Продавцы разных оттенков кожи уверяли, что хорошо знают ее, и описывали ее то как солидный том в твердой обложке, то как пейпербэк большого формата, а один даже принес якобы искомый фолиант («Меньше нуля» какого-то, кажется, Эллиса), но книга оправдала свое название — ни одного экземпляра обнаружить не удалось. Зато по сходству фамилий, а значит, и по смежности на книжной полке, профессор З. наткнулся на Борхеса. Наткнулся, разумеется, по ошибке, ибо эссе поэта Б. следовало искать среди non-fiction, тогда как Борхес писал рассказы и соседствовать с Б. был никак не должен. Впрочем, всякий хоть немного знакомый с Борхесом (в частности, профессор З., каким мы застаем его над штатом Колорадо), согласится, что его тексты, выше для простоты именовавшиеся рассказами, а им самим определявшиеся как ficciones, образуют совершенно особый промежуточный жанр, и потому, скорее всего, не случайно попали в руки профессору З., раз уж ему

суждено было стать героем трактата о пограничных состояниях. Когда же писатель С. поделился с ним собственными планами работы в области короткой невымышленной прозы («Прозы», — переходя с единственного числа на множественное, подумал профессор З., — вот будущий эквивалент всех этих ficciones и non-fictions, дайте только прозе сделаться исчисляемым существительным, благо начало уже положено «Четвертой прозой»), профессор окончательно утвердился в намерении прочесть или хотя бы почитать Борхеса.

Именно это и происходило сейчас в утробе гигантской стальной птицы компании «Пэнэм», с той очевидной оговоркой, что к испаноязычному Борхесу профессор З. обращался по-английски, а мысленно протоколировал этот диалог на совершенно уже, так сказать, экзотическом языке родных осин. Правда, переводчик, некто Энтони Керриген, английские инициалы которого узнающе подмигивали готовившемуся принять его в круг соавторов профессору, заверял в своем предисловии, что его переводы представляют собой «complete versions» испанских оригиналов, однако профессор З. (несколько инкарнаций тому назад принадлежавший к далеким, казалось бы, от его теперешних кругам специалистов по машинному переводу, где паролем служило эзотерическое «Мы-то с вами знаем, что перевод невозможен») позволил себе усомниться в полноборхесности керригеновского извода. Впрочем, ничего порочного в замене неуловимого Борхеса, этой блуждающей точки,

целым кругом авторов, пожалуй, не было. Круг Бахтина, круг Борхеса... Между прочим, идея круга присутствовала и в состоявшем всего из двух слов, но мучительно непереводаемом заглавии рассказа, ставшего предметом особенно активного творчества со стороны профессора З. и в результате дочитанного им до конца. Прилагательное, взятое определением к игравшим в рассказе центральную роль циркоподобным развалинам, собирало воедино форму этих развалин, безвыходность логического круга, разрушительное кольцо огня, идеальную замкнутость и в то же время дурную бесконечность сделавшего полный оборот сюжета, а возможно даже и, так сказать, циркулярный характер сновидений. Профессор З. решил отложить работу над заголовком и углубился в текст.

Итак, несмотря на фундаментальную относительность всех компонентов предлагаемого утверждения, профессор З. читал рассказ Борхеса. Дело касалось персонажа, пытавшегося сознательно управлять своими сновидениями, с тем чтобы, скажем так, выгрезить реального человека и перевести его из царства снов в действительный мир. Своей сновидческой деятельностью герой занимался у руин древнего храма, имея в виду подержать таким образом традицию служения богу огня; для аналогичной роли предназначал он и своего вымышляемого наследника. После долгих молитв и трудов затея его, наконец, удалась, и новый человек, ступив в жизнь из головы своего создателя, отправился по месту службы к соответ-

ствующим круглым развалинам. Он обладал всеми атрибутами реальности, ибо, в конце концов, не созданы ли мы из того же вещества, что и наши сны? — и никто из людей, ни тем более он сам, не догадывался о его субстанциальной эфемерности, известной лишь его создателю-сновидцу и, разумеется, богу огня, по соглашению с которым все и было устроено.

Предпринятое здесь резюме борхесовской фикции начинает затягиваться, а по сути дела и вообще немислимо, не только из-за принципиальной, отмеченной еще Толстым, невозможности пересказать художественный текст, например, «Анну Каренину», своими словами, но и в силу характерной для Борхеса особо сгущенной лапидарности изложения, о которой уже упоминалось. К тому же мы не вправе упускать из поля зрения и профессора З., с тем большим интересом соучаствующего в вымыслах Борхеса и его персонажей, что он как раз возвращается с конференции, где выступил с докладом о литературных снах. Профессор З. удовлетворенно распознает нарочито смазанную Борхесом (или А.К.?) цитату из «Бури», независимо, но, увы, с безнадежным хронологическим отставанием использованную профессором в качестве эпиграфа к докладу, ненадолго останавливает заветный миг своего тождества с Шекспиром, Борхесом, а заодно уж и Гёте, и погружается в сладостную дрему.

Строго говоря, спать в самолетном кресле, даже с максимально откинутой спинкой, не осо-

бенно удобно. Если что и поднимает сон профессора З. над действительностью и укрепляет будоражащее и в то же время убаюкивающее сознание сюрреальности цитатных correspondances, то это подспудное ощущение дуальности самого этого сна. Профессору З. мнится, что все это «ужебыло», что он уже прошел через подобный полулежачий полет по полуночному (полуночному? полуночному?) небу, в котором собственные попытки заснуть перемежались с мыслями о снах, безуспешно заказываемых несчастным монархистом Ильфа и Петрова. Дело в том, что спальный вагон, в котором профессор З. планировал ностальгическое ночное путешествие по снежному Вермонту, попал в железнодорожную катастрофу и был отцеплен, вследствие чего разгневанному профессору пришлось удовлетвориться сидячим местом. Ему, конечно, была возмещена разница в стоимости билетов, вернее, обещано такое возмещение, ибо билет профессора был куплен не непосредственно у железнодорожной компании (в каком случае компенсация выплачивается незамедлительно), а через транспортное агентство, которое, между прочим, как отметил понимавший в этих делах кондуктор, выдало его на авиабилетном бланке. Это последнее замечание, в финансовом отношении абсолютно несущественное и сделанное кондуктором совершенно, что называется, в скобках, неожиданно возымело на профессора З. самое благотворное действие. Его гнев на железнодорожную компанию, со всем своим предположительно

хваленым американским сервисом обрекшую его на бессонную ночь в общем вагоне, мгновенно улетучился при мысли о всесиии Текста: произошло, в конце концов, не более и не менее, как овеществление метафоры, и билет на авиабилетке властно воплотился в жизнь, правда, к сожалению, в смысле не столько способа передвижения, сколько, так сказать, способа неподвижности.

Таким образом, теперешнее самолетное полулежание-полулежание было как бы повторным просмотром недавнего поездного и, переплетаясь с ним, отменяло время, о чем, то есть, об отмене времени, в частности, путем перечитывания, шла, кстати, речь во второй из проз Борхеса, начатых профессором З. (той, где говорилось о тождественности любителя Шекспира самому Потрясающему Копьем; то есть, собственно, там-то говорилось попросту о тождестве с Шекспиром, но профессор счел возможным помыслить об этом несколько более старинным и возвышенным, а главное, более интертекстуальным способом, для чего и пригодилось нечто полузабытое из, похоже, Томаса Манна), и еще где-то у Набокова, если верить одному из нью-йоркских докладчиков. А такое упразднение времени, помимо очевидной общей привлекательности, было особенно в интересах профессора З., ибо полностью снимало сугубо хронологический вопрос о приоритете в области теории управляемых снов и ряде других областей.

Интересный в мемуарном плане, но несколько тревожный для профессора З. разговор о высшем

даре состоялся у него незадолго перед тем с его другом писателем С. Начался он по инициативе С., который заговорил о внутреннем переживании гениальности и различных сопутствующих проблемах, включая в круг их действия, как сам собой разумеющийся, и случай профессора З. Профессор, естественно, отклонил такое расширительное толкование термина. «То есть, напрямую спросил его С. — ты не считаешь себя гениальным?» — «Нет, — твердо отвечал профессор З., но тут же смягчился и добавил, — разве что речь идет о какой-то такой гениальности, что ли ...», — он не находил слов. «Посредственного типа?» — подхватил его собеседник, мгновенно продемонстрировав, что иногда все-таки бывает писателем С.

Писатель С. интересовал профессора З. как в человеческом, так и в литературном своем обличье, однако ничего существенного о его творчестве профессор З. пока что сказать не имел. Мелькнувшая было идея о зашифрованном в названиях его трех книг имени писателя, вполне в стиле многого слышанного на конференции, как-то не вытанцовывалась. Ну, хорошо, в первом слове названия первого романа полупрочитывалась, правда, не без некоторого усилия, фамилия автора; в заглавие второго были вынесены названия двух животных, то есть, собственно, одного и того же, взятого в диком и домашнем варианте, что позволяло протянуть аналогию к той хищной птице, от которой образована была опять-таки фамилия С. и которая (разумеется, птица, а не фамилия) в дав-

ние времена приручалась для охоты и тем самым имела и домашнюю ипостась; наконец, в имени заглавного героя третьего романа содержалась часть авторского имени (уже косвенно затронутого в нашем повествовании). Однако все эти соображения, как говорится в подобных случаях, требовали дальнейшей разработки и в настоящем виде никак не могли идти в сравнение с открытой великим структуралистом пушкинской триадой «Медный всадник» — «Каменный гость» — «Золотой петушок».

Профессор З. заскучал, с лунатической покорностью принял было из кирпично загорелых рук стюардессы бумажный стаканчик с кофе по-американски, но с полдороги вернул его, поерзал в кресле и осмотрелся. Его взгляд упал на газетные заголовки — новости были на удивление утешительные. В Саудовской Аравии расширилось применение технологии регенерации мусора, опухоли прямой кишки и предстательной железы президента обещали оказаться доброкачественными, в нобелевской речи д-ра Э. Диппа, еще на университетской скамье разрешившего загадку сфинктера, содержался призыв к сотрудничеству ученых разных поколений, а взрыв в редакции журнала «Собачья мода», ответственность за который приняла на себя организация защиты прав гомосексуалистов (в продиктованном по телефону заявлении приносившая извинения за «семантические проблемы», приведшие к акции), обошелся без человеческих жертв. Клоака реальности, кокетли-

во кутаясь в свой самый радужный наряд и даже заигрывая с первородством Слова, явно пыталась завлечь профессора в свое лоно, но вызвала противоположную реакцию. По роду своих занятий привыкший не щадить жизни ради звуков, а звуков ради их структурного анализа, профессор З. вспомнил, что был несколько озадачен тем предпочтением, которое, правда, на известных условиях, вроде бы отдавалось у Борхеса яви перед сном. Разумеется, это были пока что всего лишь, выражаясь красиво, домыслы в тупик поставленного грека — сфинкс борхесовской фикции не мог отдать своей разгадки до рокового момента истины, и все же профессор не рискнул бы, так сказать, поставить свой соавторский гонорар на ирреальность. В его памяти всплыли сетования писателя С. на поклонников (из числа интеллигентных посетителей зимнего курорта, где С. работал инструктором по бегу на лыжах — вслед Набокову, аналогичным образом промышлявшему некогда теннисом), которые от похвал его стилю быстро перешли к советам написать о жизни и судьбе эмиграции по рецепту недавно нашумевшего диссидентского гроссбуха о сталинских временах. «Я сказал им, что реальность меня не интересует», — уязвленно отчеканил С. Готовый к любому исходу борьбы между поэзией и правдой, былым и думами, жизнью и сном, а на худой конец согласный удовольствоваться чисто академическим урожаем цитат и структурных эффектов, профессор З. вернулся к Борхесу.

«Неплохие интертексты к хворобьевским снам по заказу», — подумал он, подчеркивая в тексте фразы, от попыток перевода которых на свой родной язык, не располагавший активным глаголом со значением «сниться», он вынужден был отказаться с порога: «He willed to dream a man. He wanted to dream him... and then impose him upon reality... The next night, he deliberately did not dream...» («Усилием воли он постарался увидеть во сне человека. Он хотел увидеть его во сне... а затем внедрить его в реальность... На следующую ночь он нарочно не видел снов...») Профессор отметил, что пока он спал, герой получил известие о том, что его сын, выходец из его снов, служение которого у дальних руин он постоянно пытался себе вообразить, иногда совершает чудо прохождения сквозь огонь. Тем самым бог огня напоминал отцу, что его сын — не более чем фантом, и герой молился о том, чтобы сын навсегда остался в неведении относительно поддельности своей генеалогии. В остальном герой чувствовал свою миссию на этом свете завершённой. Перелив всего себя в наследника, он готовился к концу, приближение которого вскоре дало о себе знать. Гигантский пожар вновь, как и столетия назад, охватил местность, кольцом окружил развалины алтаря и окутал сновидца, лаская, но не сжигая его. «С облегчением, унижением, ужасом он понял, что он тоже был не более, чем кажимостью, снящейся кому-то еще».

Профессор З., просмотревший во время подготовки к докладу целые гипнотеки снов, был вы-

нужден признать, что подобное не снилось никому из известных ему авторов. Были вещие сны, сны, переплетающиеся с явью, сны во сне, общие сны, сны выдуманные, сны по заказу и насильно навязанные, сны о человеке, видящем во сне смерть сновидца... Были, с другой стороны, сны-новеллы, сны-главы романов, сны, символизирующие творчество... Были, далее, дремотствующие персонажи, сквозившие в иной мир и потому не погибшие с разрушением театральных декораций реальности... Были боги, в полном вооружении возникающие из головы друг друга, и образы, порождающие другие образы, которые, в свою очередь, порождали следующие образы, и т. д., подобно фантастическим (особенно в ту пору, когда это походя вымышлялось в болтовне о предметах божественно комедийных) самолетам, на полном ходу конструирующим и выпускающим из себя все новые и новые машины... Были, наконец, нестораемые рукописи... Но такого, как в этом рассказе с недоработанным названием, не было. Чужих певцов блуждающие сны были пересказаны с точки зрения снов, а не певцов. Метафора литературного процесса как особого интертекстуального способа продолжения рода, одновременно и менее, и более реального, чем действительность, завораживала.

«Ай да Борхес, ай да сукин сын!» — скромно приснилось профессору З., как водится в таких случаях, в третьем лице. Рассказ летел, пользуясь выражением мастера, к концу, и пора было серь-

езно заняться заглавием. Чтобы начать с чего-нибудь попроще, профессор З. мысленно вывел посвящение — оно напрашивалось, ибо отправной точкой повествования, как и путешествия, был, конечно, образ писателя С., год назад опубликовавшего некую мнимо-документальную прозу, где в посвящении и в самом тексте обильно фигурировали аббревиатуры, в том числе и непристойно намекавшая на нашего профессора. Посвящение естественно исключало эпитафию и, значит, вплотную ставило вопрос о заголовке. «На полпути к Борхесу»? «Борхесандрия»? «Борхес в стакане воды»? «Приглашение на Борхеса»? «Это З. — Борхес»? «Полеты с Борхесом»? «Руины забвения»? «Меньше, чем сон»? «Имя эха»? «С./З.»?

Что-то во всем этом было и в то же время не клеилось, подобно недоброй памяти чисто умозрительному обмозговыванию заглавий писателя С. Профессор помнил о предостережении поэта против головизны вымыслов, но рассудил, что теперь идет другая драма, и что только на такие церебральные вокабулы ему и остается рассчитывать в его витийственных попытках приблизиться к изголовью Борхеса и вторгнуться в область его видений и снов. Эта мысль вновь разожгла интерес профессора З., голова его запылала, пальцы потянулись к перу и бумаге, и ясно продиктованное заглавие легло на страницу. Профессор замер, боясь нарушить очарование этой минуты. «Иногда», — подумалось ему, но что именно иногда он так и не узнал, ибо язык неизвестно откуда

взявшегося пламени мгновенно слизнул рукопись вместе с заголовком, оставив лишь немного пепла и легкую струйку дыма.

От неожиданности и унижения профессор З. проснулся. День тоже догорал. По все еще наполовину ночному небу стальной сокол, несший в своем чреве безжалостно возвращенного к скучным звукам земли профессора З., кругами снижался над Городом Ангелов.

Можем уронить

На самой заре перестройки в Америку приехал известный поэт-переводчик З. Тщательно разработанный маршрут постоев у знакомых-эмигрантов должен был своим чередом привести его в Лос-Анджелес, но он внезапно переменял рейс, сообщил об этом своим сантамоникским хозяевам в последний момент, и они не могли его встретить. Они попросили меня съездить за ним в аэропорт и «поддержать» его у нас с Ольгой до вечера.

В аэропорту я легко выделил его из толпы несоветских пассажиров и вскоре понял, с каким человеком имею дело.

— Я вас не знаю. Почему не приехали такие-то? Они обещали меня встретить!

— Они ждали вас вечером...

— Я решил прилететь поскорее. В Чикаго холодно. Как вы меня узнали? По фотографии в книгах?

— Нет, но у нас есть свои методы...

По дороге я изложил ему план действий: он побудет у нас, поест; мы, к сожалению, должны сделать кое-какие дела, но он может отдохнуть на веранде или погулять вдоль океана; а вечером, когда его знакомые вернутся с работы, мы как раз поедем на некий вечерний семинар и по дороге забросим его к ним. Но столь скромный церемониал приема не удовлетворил З., который требовал поминутного внимания.

Он начал с того, что придрался к поданной еде — его жена готовит иначе, лучше. Он не отпускал Ольгу готовиться к предстоящему докладу — неужели ей не интереснее с ним? Он стал проситься на семинар — все-таки, он имеет некоторое отношение к русской литературе?! Он требовал звонить к его знакомым на работу, чтобы поторопить их... Я, как мог, парировал его претензии.

— Нет, — сказал он обиженным тоном. — Я вижу, меня здесь плохо принимают. А ведь я могу в любой момент улететь в Сан-Франциско, где друзья будут носить меня на руках.

Мое терпение начало иссякать.

— Вы знаете, — я назвал его по имени отчеству, — мы тоже усиленно стараемся вас качать, но если вы будете брыкаться, можем нечаянно уронить.

Не помню в точности, что он ответил, но предупреждения он явно не услышал. Между тем, я решил, что оно будет последним.

Поскольку Ольга, извинившись, все-таки ушла готовиться, он вцепился в меня.

- А вы чем занимаетесь?
- Преподаю русскую литературу в университете.
- И поэзию тоже?
- Случается.
- Ну, а вот такие стихи вы знаете?
Захлебываясь, он прочел несколько строф.
- Не знаю.
- Как же так, профессор русской литературы, специалист, а стихов не знаете?
- Не брыкаться он просто не мог. Это становилось забавно.
- Ну, у вас несколько наивные представления о нашей профессии. Специалист не может, да и не стремится, знать всего написанного. Но он, разумеется, должен уметь разобраться в любом предложенном ему тексте, даже если не знает его наперед, — датировать его, атрибутировать и т. д.
- И что же вы, как специалист, можете сказать об услышанном стихотворении?
- Драма неотвратимо близилась к развязке, и тем приятнее было растянуть удовольствие.
- Прочтите, если не трудно, еще раз.
- Он не заставил себя просить — стихи ему явно нравились.
- Что же скажет специалист?
- Ну, что можно сказать? Стихи в гражданском, теплом духе, грамотные, прогрессивные, но вполне стандартные; написаны где-то между 57-м и 63-м годом. Размер и рифмовка традиционные.

Что касается авторства, то однозначная атрибуция невозможна, ввиду неоригинальности стиля. Это, конечно, могли бы быть какие-нибудь из менее удачных стихов К., но его я знаю довольно хорошо, это не его. Значит, так. Если мы согласимся, что К. — поэт второго ряда, то это стихи третьего степенного поэта — эпигона К., типичные для рубежа 60-х годов, незнание с которыми простиительно.

К его чести, до него дошло. Остаток дня он был молчалив, а назавтра даже извинился перед Ольгой.

Пригов и авокадо

Когда рухнул железный занавес и бывшие подпольные литераторы стали ездить на Запад, на нашем горизонте появился Пригов. В Лос-Анджелесе он остановился у нас, и в первое же утро мы решили поразить его одним из чудес американской природы. На стол, среди прочего, мы подали авокадо.

— Дмитрий Александрович, Вы наверно не знаете, что это?

— Вот это... такое... генитальное?..

— Если вам угодно так выразиться. Это плод авокадо.

— Авокадо? Какое интересное название! Откуда оно?

— Честно говоря, сам не знаю. Посмотрим в словарь.

Я открыл недавно вышедший огромный «Random House Dictionary», в котором было даже слово *glasnost*, и прочел там примерно следующее:

«*Avocado* — от испанского *abogado*, «адвокат», искаженного контаминацией с мексиканско-испанским *aguacate*, в свою очередь, восходящим к *ahuacatl*, что на языке индейцев Nahuatl означает «авокадо», а также «testiculum»».

Почти матерное crescendo: *абобадо* — *агуакате* — *ахуакатль* — *нахуатль*, разрешившееся мужским яйцом, неоспоримо свидетельствовало, что холодный концептуалист Дмитрий Александрович Пригов отнюдь не чужд «живейшему принятию впечатлений и быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных», как Пушкин определял вдохновение.

Честняга

Вслед за Приговым в наших краях стали появляться и другие российские постмодернисты, в том числе Евгений Попов. Он оказался милейшим человеком, с которым я вскоре перешел на «ты» и, вопреки обычаю, был готов проводить сколько угодно времени.

Остановился он у Виталика Гринберга, который им и занимался — кормил, поил, возил по гостям. Я ограничился устройством выступления

Попова на нашей кафедре, где он за умеренную плату очень живо рассказал историю «Метрополя», своего и Виктора Ерофеева исключения из Союза писателей и недавнего поспешного восстановления в нем. Его постмодернизм сказался и тут — в том свойском, почти циничном и уж во всяком случае без претензий на героизм тоне, которым он в лицах представил эту эпопею.

Визит Попова пришелся на семестр, когда в другой лос-анджелесский университет (UCLA) приехал преподавать мой старый друг и соавтор Игорь Мельчук. Он был с женой (Л. Н. Иорданской), и мы виделись почти ежедневно, обычно по вечерам, во время прогулок в горах, которые оглашали своими спорами. Наблюдаемый после долгого перерыва вблизи, Игорь поражал своей идеологической узостью еще больше. Загадочный эффект, как и прежде, состоял в контрасте между обаянием его благородной личности и отталкивающим фанатизмом его дискурса.

Анафемой для него были мои новые литературоведческие взгляды, литературоведение вообще и все гуманитарные науки в целом. Его раздражали мои похвалы Бахтину, а заодно и Достоевскому. «Записки из подполья», которых мы, учась в школе в сталинские времена, не проходили и которые я стал ему рекомендовать, он читать отказался. Тогда я подсунил ему лишь недавно открытую мной «Этику нигилизма» С. Л. Франка, сказав, что это обо всех нас, в частности — о нем. Он прочел, плевался, но на свой счет не принял. Гумани-

тарной болтовне он, как и встарь, ставил в пример точные науки. Несмотря на эти потоки негативизма, общение с ним было удовольствием. Старый друг лучше новых двух.

Мне, естественно, захотелось устроить встречу Мельчука и Попова. Оказалось, что Игорь и Лида читали Попова и рады были бы с ним познакомиться. Тем более, кроме литературных и расхваленных мной человеческих достоинств, в пользу Попова говорило его диссидентское прошлое. И вот однажды вечером мы с Виталиком и Женей заехали к Мельчукам. За вином, торгом и чаем беседа пошла о том, о сем, о перестройке, литературе, любимых писателях. Я опять (как двадцатью годами раньше, когда у меня дома Мельчук случайно встретился с Аксеновым) с удивлением отметил, что Игорь способен поносить Достоевского, но при встрече с живым писателем обнаруживает мальчишескую робость.

Своим чередом разговор добрался до одного из литературных кумиров Мельчука, да и всего нашего поколения. Оказалось, что Попов с ним знаком. Игорь принялся о нем расспрашивать, и на моих глазах его благоговейный тон стал сменяться прокурорским. К сожалению, я не помню, какое именно обвинение, из ряда возможных, было предъявлено нашему кумиру (ныне покойному). Какой-то случай, когда тот то ли не поддержал какого-то оппозиционного начинания, то ли сдал какую-то сначала занятую диссидентскую позицию, то ли официально отмежевался от какой-то

своей зарубежной публикации, а, может быть, даже и слегка отрекся от кого-то из товарищей по оружию.

Разговор начал принимать неприятный оборот. Игорь стал с почти одинаковой неистовостью наседать на обоих — отсутствующего кумира и присутствующего Попова. С первого он строго спрашивал за его моральную нестойкость, со второго не менее строго требовал объяснений за первого.

— Как он мог? Как вы это объясняете? Что же, значит, и он тоже сукин сын?!..

Попов с присущими ему мягкостью и заиканием пытался отвести от себя ответственность, говоря, что поведение другого человека — его собственное дело. Но Игорь, забуксовав в своей бескомпромиссной колее, распалялся все больше, распалялся и одновременно расстраивался — за кумира, за Попова, за себя самого...

Неловкость была как-то замята, и расстались они мирно. Когда мы вышли к машине, я стал лепетать извинения. Но Попов и не чувствовал себя задетым. Он лишь добросовестно пытался осмыслить полученное впечатление:

— Подумать, что человек перенесся сюда, в современный Лос-Анджелес, совершенно нетронутым прямо из шестидесятых годов, в штормовке, палатке и с комсомольскими идеалами! Этаким честняга!..

Выражение «Честняга!», употребленное по сходному поводу, я потом встретил у кого-то из классиков, кажется, у Лескова или Достоевского.

К своему сугубому стыду, я не записал, у кого, и теперь не помню.

Все на выборы

Хотя в идейном плане советский диссидент по-солженицынски тяготеет к правому краю американского политического спектра, ввиду обломовского склада своей натуры он не склонен голосовать вообще. А при соответствующем стечении обстоятельств в нем может проснуться и подпольный человек Достоевского.

Когда Рейгана выбирали в первый раз (1980 г.), я еще не был американским гражданином, и вопрос о выборах носил для меня чисто академический характер. Помню, однако, тогдашний разговор с одним из моих первых американских менторов Джорджем Гибианом. Джордж, чешский эмигрант образца 1938 года, успел в составе американской армии освободить Чехословакию, а теперь уже много лет заведовал корнелльской кафедрой русской литературы. Давно оставив первую жену, он жил с более молодой и очень активной коллегой.

— Мне придется вместе с Карен голосовать за Картера, — сказал он с извиняющейся улыбкой. — Но я надеюсь, что выберут Рейгана.

Так и случилось. А когда через четыре года Рейгана выбирали на второй срок, я уже смог отдать ему свой голос. Чувство исполненного долга смазывалось, однако, тем, что Ольга, с которой мы

пошли голосовать, была, как и большинство университетских коллег, сторонницей демократов, и наши голоса взаимно уничтожились, так что с тем же успехом мы могли остаться дома. Все же меня еще долго согревала мысль, что я повел себя принципиальнее Джорджа и внес посильный вклад в разрушение «империи зла».

Следующие президентские выборы (1988 г.) мы с Ольгой по указанным арифметическим соображениям благополучно пропустили, а в 1990-м у меня был саббатикал. Я проводил его на стипендии в Национальном Центре гуманитарных исследований в Северной Каролине и потому чувствовал себя свободным от голосования — тем более, что выборы были не президентские, а парламентские и местные.

Квартиру я снимал в городке Чэпел Хилл, у супружеской пары, из года в год сдававшей ее стипендиатам Центра. Хозяйку звали Мэрилин. Это была седеющая, но моложавая и общительная дама, работавшая в администрации Дюкского университета. Ее муж владел небольшим транспортным агентством, а также возглавлял местное филармоническое общество, но в быту был человеком незаметным. Отношения у нас сложились легкие, ненавязчивые, и все шло гладко, пока на горизонте не замаячили выборы.

В тот год прогрессивная общественность Северной Каролины решила вытряхнуть матерого реакционера Джесси Хелмса из его сенатского кресла, начинавшего казаться пожизненным. В

противовес ему демократы выдвинули интеллигентного молодого негра, по фамилии, кажется, Гэнн. Полагая себя совершенно непричастным к избирательной кампании, я следил за ней вполуха — исключительно по радио в машине. Однако как-то раз Мэрилин, встреченная около дома, заговорила о том, что и мне следует включиться в священное дело борьбы против Хелмса, и пустила в ход модную в тот год формулу: «Shit happens, but is it art?» («Дерьмо случается, но искусство ли это?»). На мои слова, что меня как калифорнийца это не касается, она отвечала, что это касается всех, что открепиться от Калифорнии и зарегистрироваться для голосования в их штате дело двух минут, и она завтра же отведет меня к соседке, занимающейся предвыборной регистрацией. В ее речи не было ни малейшего перерыва, просвета, зазора — допущения, что я могу держаться каких-то иных воззрений или намерений, например, не голосовать вовсе. И хотя я всего лишь вежливо кивал, получилось, что я как бы согласился.

Разумеется, ни к какой соседке я назавтра не пошел, но мои надежды по-русийски замотать это дело оказались напрасными. Мэрилин в конце концов заставила меня посетить знакомую активистку, и я был внесен в список избирателей. Свобода моя была таким образом несколько урезана, но решающая ее часть оставалась все же при мне — я мог попросту не пойти голосовать.

В день выборов, возвращаясь на машине из Центра, я оказался около клуба при церкви, пре-

вращенного в избирательный участок, и неожиданно для себя завернул туда. Почему? Я представил себе, как я подъезжаю к дому и Мэрилин спрашивает, проголосовал ли я, и я либо честно говорю: «Нет», и тогда она предлагает отправиться вместе, либо говорю: «Да», и, значит, вру, как если бы все еще жил в Советском Союзе. Причем, в точности, как там, агитаторшу интересует именно проголосовал ли я, а не за кого я отдал свой голос, — подобный вопрос ей не приходит в голову. Это решило дело. Получив бюллетени (кажется, их было два — один по выборам в конгресс, другой местный), я хотел было из республиканцев проголосовать за одного только Хелмса, а в остальном поддержать демократов (предпочтительных в том, что касается местного самоуправления), но потом махнул рукой, назло Мэрилин вычеркнул их всех и испытал чувство глубокого удовлетворения.

Мэрилин действительно спросила меня, проголосовал ли я, и я с чистой совестью сказал, что да; дальнейших вопросов не последовало.

Не рассказал я о своем гражданском подвиге и вскоре приехавшей навестить меня Ольге. Это меня немного смущало, несмотря на мысленное оправдание, что у нас с ней и без того проблем хватает. По крайней мере, говорил я себе, я оказался свободнее Джорджа, да и голосование-то, в конце концов, тайное.

В тот раз Джесси Хелмс прошел в сенат небольшим числом голосов. Побеждал он — уже без моей

помощи — и на последующих выборах и некоторое время в составе республиканского большинства возглавлял сенатскую комиссию по иностранным делам. Когда я вижу его на экране, я исполняюсь законной гордости. Не то чтобы он мне нравился, но это один из тех случаев, где я, как говорится, *made a difference* («сыграл роль», *букв.* «сделал разницу»). Ну, и каприз свой оказал.

4



ТАМИТУТ

Цыганская виньетка

(И. П. Смирнову к 60-летию)

*Две гитары, зазвенев,
Жалобно заняли...
С детства памятный напев,
Старый друг мой – ты ли?*

(Ап. Григорьев, «Цыганская венгерка»)

*– Василий Иваныч, ты польку можешь?
– Могу. – А венгерку? – Могу. – А летку-
енку? – Не, Петька, двух сразу не могу.*

(Анекдот)

Фильм «Чапаев» я любил всегда. Не помню, впрочем, с детства ли (возможно, мама умело изолировала меня от него), но в эстетически сознательном возрасте, уже из рук Эйзенштейна, я смотрел его неоднократно, забредая на специальные утренние сеансы, где чувствовал себя белой вороной среди шумного мальчишеского табора. Это было задолго до анекдотов о Василии Ивановиче – в окружении их будущих сочинителей.

Новая встреча с «Чапаевым» произошла уже в Калифорнии, в USC, когда по очередному творческому наитию нашей завкафедрой Ольги Матич (теперь она в Беркли) был организован совместный с Cinema School курс ранней истории русского кино. Вел его уникальный знаток и коллекцио-

нер мировой кинематографии Дэвид Шепард (так и не озаботившийся защитить диссертацию и потому в дальнейшем вынужденный покинуть USC), я же был откомандирован поставлять информацию о литературных источниках фильмов и их российском контексте. Слушали нас человек двадцать аспирантов-киношников, очень сильная группа.

Я, конечно, всячески подчеркивал свою киноведческую приبلудность и лоббировал приглашение в USC Цивьяна, к чему после перестройки дело и пришло — Юра потом много лет наезжал к нам из Риги на один семестр в год, пока не перебрался в Чикаго. Но речь идет о первой половине 80-х, поре глухой эмиграции.

Готовясь к занятиям, я сначала просматривал каждый фильм в учебном кабинете на малюсеньком аппарате типа телевизора; потом мы с Дэвидом смотрели вместе, на подвесном экране в просмотровой комнате, и намечали, кто что о чем скажет; и наконец, на самом занятии фильм показывался в огромном кинозале. После просмотра мы выступали с краткими пояснениями.

Одной из кульминаций «Чапаева» является томительная пауза, выдерживаемая режиссерами и Анкой перед тем, как она откроет, наконец, пулеметную стрельбу по каппелевцам. Я это помнил и с исследовательским интересом готовился запроколировать свою реакцию, первую после долгого кочевого перерыва.

Профессиональный расчет режиссеров опять сработал безупречно: я трижды испытал нараста-

ющее волнение, радостное облегчение, подкатывание слез к горлу и навертывание на глаза. Не помешали ни миниатюрность экрана в первый раз, ни рабочая атмосфера во второй, ни неизбежная, казалось бы, скука третьего просмотра.

Отчетом о проведенном интроспективном наблюдении я украсил свой лекторский комментарий. «И это при том, — закончил я, — что я люблю скорее белых, чем красных».

... То есть, как бы двух сразу, Игорь. Работа у нас такая.

Поэзия и правда

В год 100-летия Пастернака и день 30-летия его смерти, я оказался в Москве и присутствовал при открытии мемориальной доски на доме, где он родился, — около площади Маяковского. Перед домом собралась небольшая интеллигентная толпа, человек сто; с импровизированной трибуны выступали представляемые Андреем Вознесенским поэты и культурные деятели, среди которых помню Зиновия Гердта. Все они говорили о том, как много значила для них поэзия Пастернака, все читали наизусть его стихи, свои самые любимые, и все рано или поздно перевирали текст. Это становилось интересным, потому что с каждым новым оратором возрастала вероятность исключения, но исключений все не было.

Кульминация наступила, когда знаменитый, ранее самиздатовский, поэт Р., примерно моих лет

и мне лично знакомый, стал читать «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...». Он читал своим низким, громким, мрачно монотонным, почти угрожающим — «пиитическим» — голосом, и я, забыв о своей издевательски-экзаaminаторской роли (уж у него-то я не мог рассчитывать на ошибку), задумался о давно занимавшем меня противоречии между бравурной мужественностью пастернаковского стиха и его гораздо более двусмысленной, женственной, что ли, подоплекой. Сам я тоже декламировал его в тяжелозвонком ключе, пока не услышал поразившую меня запись его собственного чтения «Ночи» («Идет без проволочек...») — на высоком, неуверенном, слегка капризном, как бы гомосексуальном распеве.

Между тем, Р., продолжая гудеть в своей чеканно-вызывающей — хочется сказать, маяковской, но, пожалуй, более ровной, ибо неоклассической, петербургской, скорее, гумилевской — манере, приближался к концу и тут, дойдя, так сказать, до «пузырей земли», сделал мне бесценный подарок. *Звезды медленно горлом текут в пиццевод...*, — по-прусски печатая шаг, промаршировал он по потрясающей именно своим ритмическим сбоем строчке, где вместо регулярного *медленно* у Пастернака проходит синкопированное, хромающее на недостающий слог *долго...*

Такое смазывание тонкостей оригинала покачительно, ибо, возвращая структуру назад к ее преодоленным банальным источникам, наглядно демонстрирует, в чем именно состоял остраняющий

творческий ход. Помню, как в занятиях Окуджавой мне помогало различие между причудливой мягкостью его собственного исполнения и той то по-туристски бодрой, то по-солдатски обреченной, но неизменно ровной, дисциплинированной, кованой маршеобразности, с которой его пели — хором, в ногу — мои друзья диссиденты-походники. *Вы слышите, грохочут сапоги...* пелось, шагалось и судилось с точки зрения сапог, хотя, видит Бог, вся соль Окуджавы именно в христианизирующей смене военно-патриотической героики тихой любовью, грохочущих сапог — старым пиджаком.

Непростительно это, конечно, только профессионалам — поэтам, литературоведам, переводчикам. Потому что массовое потребление всегда склонно стащить новое, да и вообще особенное, с его котурнов и вернуть в общую колею. Сплошь и рядом это происходит при переводе на иностранные языки. Подбирая переводы цитат из русских классиков для своей англоязычной книги, я был поражен, сколь редко тот эффект, ради которого привлекалась цитата, наличествовал в переводе. Получалось, что в отношении стиля зарубежный читатель имеет дело, как правило, не с Лермонтовым, Гоголем и Чеховым, а, так сказать, с Марлинским, Одоевским и Потапенко.

В «Поэзии и правде» Гёте посвящает несколько горьких страниц тому, как успех «Вертера» был отравлен для него настоя-

тельным желанием восхищенных друзей, знакомых и широкой публики допытаться, «как же все обстояло в действительности? Я злился и по большей части давал весьма неучтивые ответы. Ведь для того, чтобы удовлетворить их любопытство, я бы должен был растерзать свое творение, над которым я столько времени размышлял, стремясь придать поэтическое единство разноречивым его элементам [...] Впрочем, если вдуматься хорошенько, публике нельзя было ставить в вину это требование [...] Если я, преобразовав действительность в поэзию, отныне чувствовал себя свободным и просветленным, то мои друзья, напротив, ошибочно полагали, что следует поэзию преобразовать в действительность, разыграть такой роман в жизни и, пожалуй, еще и застрелиться». (Книга 13-я)

Эти страницы запомнились мне не только потому, что так задолго предвосхитили русских формалистов. Был у меня и самолюбивый личный интерес. Однажды мне тоже довелось подвергнуться расспросам (разумеется, не столь массивным) о том, кто есть кто в моих рассказах и как там было на самом деле. Это было очень обидно — мне явно отказывали в претензии на искусство, а никаким таким особым успехом я прикрыться не мог. Слабое утешение пришло лишь, когда перечитывая Гёте, я понял, что и успех ничего не гарантирует. Ни успех, ни авторитет, ни столетняя годовщина

и мемориальная доска, — против нивелирующего лома нет приема.

Хотя, вроде бы, раз уж «Вертер» написан, неплохо бы научиться его читать.

Ординарный профессор

Году в 1991-м в Москве проходил один из семинаров совместной российско-американской группы по изучению советской культуры. Тогда такие контакты были сравнительно внове, и семинар собрал сильных докладчиков и активную молодую аудиторию. Там я познакомился с совсем еще молодым, только-только из провинции Курицыным и некоторыми другими будущими знаменитостями. Но больше всего мне запомнились выступления одного коллеги из эмигрантов. Он высказывался очень часто, каждый раз начиная свою речь приблизительно так:

— Возьмем простой житейский пример. Вот, например, я, ординарный профессор N-ского университета, хочу...

Случаи приводились действительно обыденные — с покупкой продуктов, посещением библиотеки, заказом билетов и т. п., но над ними, как стяг, реяло имя престижного американского университета.

Университета и коллеги не называю — *nomina sunt odiosa*. В глоссе нуждается, боюсь, слово «ординарный». Так в дореволюционной номенклатуре именовался штатный профессор, т. е., по-тепе-

решному, полный, постоянный, tenured; экстраординарным же назывался, наоборот, внештатный.

«С Гомером долго ты беседовал один...»

Изучая, в ходе работы над книгой о Бабеле, бабелеведческую литературу, особенно высоко я оценил двадцатилетней давности книгу Джеймса Фейлена (Falen). При этом я обратил внимание, что за полтора десятка лет жизни в Америке и исправного посещения конференций мне ни разу не пришлось столкнуться с ним лично.

Наша с Ямпольским книжка вышла осенью 1994 года, и я захватил несколько экземпляров на славистическую конференцию, проходившую в Сан-Диего (благо, недалеко) в самом конце года. Один я подарил Наталии Первухиной, с которой там познакомился. Разговорившись с ней, я узнал, что она работает на одной кафедре с Фейленом.

— О, это автор самой лучшей книги о Бабеле, — встрепенулся я. — И, надо же, я никогда его не видел. Он что, на конференции не ездит?

— Почему? Он здесь.

— Но его нет в программе!

— Он приехал без доклада — мы целыми днями интервьюируем кандидатов на работу.

— Познакомьте меня.

— Обещать не могу. Он ни с кем не общается.

— Скажите ему, что я его прекрасно понимаю — у меня даже был такой соавтор (Юра Щеглов).

Много времени я у него не отниму. Мне бы только пожать его руку и преподнести книгу.

— Я передам, но, честно говоря, не знаю.

На другой день, в условленное время Наташа появилась в условленном месте с ожидаемым ответом.

— Ну, что?

— Знакомиться он не будет, но книгу примет.

— Нет уж, книгу он купит...

Кажется, он воздержался и от этого, но по Наташиному экземпляру с книгой ознакомился и в дальнейшем вернул комплимент, передав, что ставит ее выше всего написанного о Бабеле.

А еще через пару лет вышел его английский перевод «Евгения Онегина», который, по мнению большинства рецензентов, превзошел все предыдущие (их около десятка).

Name dropping

Как-то потребовалось объяснить смысл этого отсутствующего в русском языке оборота. В качестве хрестоматийного примера я привел стилистику недавно (в 1995 г.) опубликованных мемуаров. Собеседник попросил меня быть конкретнее. Тогда я вспомнил фразу из этих воспоминаний, являющую поистине квинтэссенцию щеголяния короткостью с великими: «Когда ехали по шоссе хоронить Ахматову, Бродский показал мне место, где погребен Зощенко». Текст эталонный, незабываемый. Тут ни убавить, ни прибавить, все мес-

та заняты кем надо, и даже заранее — Бродский был еще жив.

Казалось бы, такую несложную вещь, как сведения о могиле Зоценко, можно доверить и шоферу, — у Пушкина ямщик просто указал бы кнутом на восток, но, как говорится, ноблесс оближ. Правда, питерские знакомые говорят мне, что Зоценко лежит не по дороге к Ахматовой, но ради такого дела и десять верст не крюк. Хоронить, так с музыкой!

Хум хау

Все зависит от точки зрения.

В «Лос-Анджелес Таймс» недавно был забавный обмен репликами. По поводу материала о владельце петуха, будившего соседей, одна читательница пишет, что она спит как раз крепко и, будучи глуховата, даже не реагирует на будильник. Поэтому она спрашивает, где можно купить петуха. Дамочка избирает роль мучителя столь невинным образом, что закрадывается сомнение в подлинности сюжета: очень уж ловко моральная глухота корреспондентки мотивирована физической. Вспоминается ворошиловский стрелок, недоумевавший на Пушкинской площади, почему памятник поставлен не тому, который попал.

Подоплека подобных ракурсов может быть самая серьезная. У Окуджавы есть стихотворение «Храмули», про «серую рыбку с белым брюшком». Сначала она изображается «счастливой подков-

кой», которая «шевелится... в движении чистой струи», но в конце концов ее съедают. Вот как это подано:

*Представьте, она понимает призванье свое/
.../ ей клятвы смешны,/ с позолотою вилки
смешны,/ ей теплые пальцы и тихие губы нуж-
ны,/ ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,
как будто беседуют с ней о спасенье души.*

Рыбке вменяется полное понимание ее ритуальной роли в «нашем» спасении.

В рамках христоподобной трактовки Пушкина Дантес играет ту же роль, что Иуда в евангельской истории по Леониду Андрееву. Призвание Пушкина/Иисуса — быть принесенным в жертву, а Дантеса/Иуды — ему это устроить. «Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец, и раздробил бедро, и обеспечил бессмертие!..»

Христос, кстати, не всегда выступает в страдательной роли. Разъясняя американским первокурсникам заглавие «Бесов», я начинаю с пересказа его евангельского источника:

«[В]стретил Его человек, одержимый бесами... и в одежду не одевавшийся... [М]ного бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось... стадо свиной, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы... вошли в свиной; и бросилось стадо с кру-

тизны в озеро и потонуло... Пастухи... нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме» (Лук. 8: 27-36).

Тут все хорошо — и забота о пациенте, вплоть до его туалета, и доброжелательность к бесам, хотя не совсем ясна разница между непосредственным низвержением в бездну и отправкой туда в свином обличии. Беспокойство в американской аудитории вызывает неспровоцированная жестокость по отношению к свиньям. Отвечать приходится в том смысле, что, согласно иудаизму (а Иисус, напоминая я, был иудеем, «время было такое»), свиньи — твари некошерные, так что туда им и дорога. Тем более, Иисус лишь идет навстречу пожеланиям бесов. Еще лучше было бы, конечно, если бы просьба исходила от свиней...

Американцам с детства прививается априорная любовь ко всему живому, в том числе к вредителям, даже крысам; исключение составляют тараканы и киношные злодеи, the bad guys. Сознание неприкосновенности животных сочетается с неосведомленностью о Библии — ввиду тщательного отделения церкви от государства и, значит, от школьного образования. Нести слово Господне в класс выпадает мне, советскому иммигранту, атеисту и выходцу из на редкость жестокой культурной среды.

Жестокостью была пропитана вся советская культура, включая нон- и полу-конформистскую,

например, любимые мной кинематограф Эйзенштейна и дискурс структурной лингвистики. Я осознал это не сразу, ибо горячо разделял экзистенциальный пафос структурализма — желание именем Науки жестко перечеркнуть пошлости официального гуманизма. В обстановке противостояния трудно было отдать себе отчет в глубинном сходстве структуралистской «железности» с марксистско-ленинской. Вообще, семена жестокости легко перелетали с одного цветка на другой.

Среди культовых текстов послесталинской эпохи был французский фильм «Фанфан-Тюльпан», с Жераром Филиппом и Джиной Лоллобриджидой (1952; к нам он дошел несколько позже). В одной особенно запомнившейся сцене

Фанфан-Тюльпан с приятелем пробираются в королевский дворец и оказываются под столом, на котором главнокомандующий разворачивает перед Людовиком XV план сражения:

«Ваше Величество, правый фланг я расположил на левом фланге». — «Понятно. А... левый фланг — на правом?» — «Левый фланг я, с позволения Вашего Величества, поместил в центре». — «А-га. А центр, значит, на правом фланге?» — «Совершенно верно, Ваше Величество». — «Ну, что ж, диспозиция довольно-таки коварная. А что... неприятель?» — «Неприятель не возражает. Обещаю вам не менее десяти тысяч убитых».

В это время в другом конце залы раздаётся шум и появляются стражники с алебардами. «Что вам нужно?» — «Ваше Величество, во дворец проникли двое неизвестных...» — «Вот и прекрасно. Найдите их, поймите, повесьте — и не смейте мне надоедать!»

Двое «неизвестных» под столом переглядываются.

Отзвук этого эпизода слышится мне в другом культовом фильме, уже советском, «Служили два товарища» (1968), где утомленная гражданской войной и, насколько помню, нанюханная комиссарша латышских стрелков (Алла Демидова), недолго думая, приказывает расстрелять приведенных к ней героев фильма (Ролана Быкова и Олега Янковского). От их объяснений она отмахивается: «Хотя бы умереть умеете, как мужчины». В обоих случаях безжалостность подается с иронией и под этой маской смакуется.

Формула «поймите, повесьте и не смейте мне надоедать» надолго стала моим лозунгом в науке и жизни. Профессиональные результаты, вроде, ничего, житейские — так себе. Конечно, все зависит от точки зрения.

... «Хум хау» — из анекдота:

Двое эмигрантов разговаривают, как им кажется, по-английски: «Вич воч [Which watch=Который час]?» — «Сикс клокс [Six clocks=Шесть часов]». — «Сач мач [Such

much=Так много]?» — «Хум хау [Whom how = Кому как]».

Сдвиг точки зрения не только назван впрямую («кому как»), но и спроецирован в лomanую — маргинальную — эмигрантскую речь. Анекдот же, в свою очередь, из кино — из «Касабланки» (1942) с Хамфри Богартом, которой у нас в прокате не было. Определенно, во всем большевики виноваты.

«Bist Du ein Zwerg?»

(А. Д. Синявский)

Некоторые из моих сокурсников по филфаку МГУ просто учились у него, но на романо-германском отделении русская литература не проходила. Его имя я впервые услышал, когда заговорили о его рецензии в «Новом мире» на один из первых ответственных сборников Пастернака (1961). Начало было так далеко... Но в выходе пастернаковского тома Большой серии «Библиотеки поэта» с предисловием вскоре арестованного Синявского (1965) была уже видна рука истории, а задним числом узнается и его собственный двусмысленный почерк. Книгу покупали на черном рынке наполовину за стихи бывшего опального поэта, наполовину за предисловие бывшего советского критика.

Пастернаком я тогда не занимался, была пора структурного Sturm und Drang'a (книгу мне привезла из-за границы польская — тогда польская,

ныне австралийская — лингвистка Анна Вежбицка), и предисловие на меня впечатления не произвело. Но вскоре пошел процесс политической ферментации, катализатором которого стало дело Синявского и Даниэля, постепенно он вовлек и меня, и к 68-му году я созрел для подписания письма в защиту Гинзбурга и Галанскова, в свою очередь вступившихся уже непосредственно за сидящих «перевертышей».

Позже, обратившись со своими структурно-лингвистическими инструментами к поэтике и понаоткрывав Америк в области пастернаковских инвариантов, я вновь перечитал предисловие Синявского и обнаружил, что почти все это там уже было, только без помпы и парада. Когда потом в эмиграции, году в 80-м, Мельчук написал мне, что говорил о моих работах с Синявским и тот выразил готовность с ними ознакомиться, я тут же послал все, что было напечатанного, и прежде всего некий вывезенный из Москвы грязноватый препринт, кишевший нумерованными пунктами и подпунктами, буквенными сокращениями, и квази-математическими формулами.

Ответа не последовало, но в 1984 году, на пастернаковском симпозиуме в Иерусалиме я, наконец, увидел Синявского. Я подошел представиться, он тоже назвался; я сказал, что, конечно, знаю его по портретам, он как-то смущенно-издевательски ухмыльнулся и посмотрел на Марию Васильевну. Я расшаркался и отошел. Через некоторое время он сам подошел ко мне, сказал:

— Вот Марья говорит, я должен извиниться. Я прочел ваши работы, очень интересно.

— Мне приятно слышать, что они вам нравятся.

— Да, очень интересно. — Слово «нравятся» он не повторил. — Марья говорит, что я должен объяснить, почему я засмеялся. По работам я представлял себе какого-то очкарика с буквами и цифирьками, а вы...

— Понятно, эдакий здоровяк-волейболист...

Мой иерусалимский доклад Синявскому понравился на самом деле, и с его публикации в «Синтаксисе» (посвященной *Андрею Синявскому — посвященному отцу советского пастернаковедения*) начался наш роман с журналом. Все, что я в нем напечатал, было написано в синявском духе, часто под прямым впечатлением от разговоров и дискуссий с А. Д.

В освобождении — моем и целого поколения литературоведов — от структурализма и, шире, монологизма 60-х годов Синявский сыграл важнейшую роль, явив собой российских Барта и Дерриду в одном лице. У него самого это шло от Розанова, элементы постструктурной разомкнутости были у Лотмана, параллельно влиял воскрешенный Бахтин, в том же направлении действовало эмигрантское открытие Америки, да и Европы...

Синявский был звуковым лицом этих сдвигов. В значительной степени — в силу своего мученического ореола, столь показанного российскому мыслителю; впрочем, носил он его с тем же пол-

ным отсутствием щегольства, что и старые домашние туфли. Но в неменьшей степени — в силу своей тихой, но обескураживающей двойкости: способности сначала прожить, а затем и описать свои сложные игры с властью, оставаться диссидентом даже среди диссидентов, привечать Лимонова и т. д. и т. п. и в результате непрерывно состоять под судом и следствием российского общественного мнения, будь то эмигрантского или отечественного.

Недавним и совершенно неожиданным подтверждением живучести его деконструкторской репутации стала для меня переписка (по электронной почте) с моим давним московским другом, а в тот момент редактором некоего филологического издания. Он пытался цензурировать одну из моих, скажем так, прогулок по Ахматовой, и с особенным напором требовал выбросить ссылки на работы Синявского о Пушкине и Гоголе. Читать это на экране компьютера в Лос-Анджелесе в середине 90-х годов было диковато. После напряженной борьбы я в конце концов победил, но победа Синявского была очевидна уже из того, что и через 20 с лишним лет после первых зарубежных публикаций, его книги принадлежат к самому живому литературному жанру — запретной классики.

Однажды он завел разговор о вере в Бога; я сказал что-то добросовестно агностическое. А. Д. не стал меня переубеждать, только спросил: «Но в домовых-то, в леших-то вы верите?» Я не засмеялся, потому что, помимо интеллектуальной нелов-

кости, это было бы просто бестактно. Он сам был немного домовым или лешим, со своей косоватой бородкой, разными глазами, полуавтобиографическими историями про крошку Цореса и Пхенца и проживанием под Парижем (в доме, когда-то принадлежавшем Гюисмансу) без французского языка.

Во время совместного посещения одного из замков-музеев в окрестностях Парижа, уже после осмотра, мы обедали в полупустом вестибюле, превращенном в ресторан. Пользуясь огромностью зала, по нему туда и сюда бегал маленький мальчик с мячом, на которого иногда по-немецки шикали родители. С момента, как мальчик заметил Синявского, мяч стал все ближе и ближе подкатываться к нашему столику. Наконец, окончательно осмелев, мальчик подошел к Синявскому вплотную.

— Bist Du ein Zwerg? («Ты гном?») — спросил он.

— Это слово я знаю, — сказал А. Д., и покраснев, кивнул мальчику. Счастливый невероятной встречей с гномом, тот побежал к родителям.

... Последний раз, после долгого перерыва, я видел А. Д. в начале декабря 1996 года. Сам того не зная, он уже побывал при смерти, но теперь находился в состоянии ремиссии. Он писал на компьютере, сделал для меня перерыв, был гостеприимен и бодр. Он стал расспрашивать, чем я занимаюсь, одобрительно выслушал мое рассуждение, что Зоценко — это великий «человек в футляре» (я приехал на конференцию по Чехову), а в ответ на мои реляции с ахматовского фронта со

смаком рассказал, как она придиралась к каждому слову писавшейся им хвалебной статьи о ней, величественно поворачивалась в профиль и довела его до того, что он ушел со словами: «Пусть о вас пишет Ермилов!..»

Он дожил до расцвета той фантазмагорической литературы, появление которой пророчил почти полвека назад (в статье «Что такое социалистический реализм») и пионерские образцы которой дал тогда же. Он всегда был жизнью полон в высшей мере, но одновременно немного сквозил, или косил, в мир домовых, русалок и виев, туда, где с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых. Там, наверно, он и прогуливается теперь, вместе с Пушкиным, в тени Гоголя, среди существ, подобных ему, опавших листьев, голосов из хора.

Спокойной ночи, Андрей Донатович!

Длинные руки

Кстати, об Ахматовой. Как-то я говорил по телефону с уважаемым мной коллегой-славистом, в свое время диссидентом, высланным из СССР и при первом послеперестроечном визите на родину лишь по оплошности КГБ не подвергшимся аресту, о чем мы и вспомнили в нашем разговоре. Потом речь перешла на наши последние работы, взаимную присылку книг и оттисков, и он продемонстрировал знакомство с моей ахматовской статьей в «Звезде», одобрительно о ней отозвавшись.

Я поблагодарил его за поддержку, ценную как по существу, так и прагматически — ввиду ее редкости.

— Хочу уточнить, — сказал он, — что поддержка эта, хотя и искренняя, является сугубо частной, публично высказать ее я бы не решился.

— Позвольте, но ведь это в точности, как с хрущевским докладом о Сталине: культ личности разоблачается, но доклад остается секретным.

— Да, это так, — охотно признал он.

— Как же вы с этим живете, Вы, не боявшийся КГБ?

— Видимо, Ахматова посильнее КГБ!

— Чем именно — тем, что любовь к ее стихам делает для вас нежелательным какое-либо обсуждение ее личности?

— Да нет, стихи дело особое... Дело именно в боязни открыто занять эту позицию. Вы, впрочем, можете опубликовать наш разговор, не называя моего имени, и хотя бы таким образом я послужу делу свободы совести.

— С вашего позволения, так и сделаю.

Страх моего американского коллеги — очередное подтверждение власти того, что я назвал «институтотом ААА». В этой власти нет ничего мистического. Если мой коллега посмеет высказать свое мнение вслух, его, полного профессора престижного университета, с работы, конечно, не выгонят, но в русскоязычном истеблишменте могут перестать приглашать, печатать, признавать за своего...

У Ахматовой длинные руки.

Язык и речь

Когда в начале 90-х годов я впервые выступал в РГГУ, это было еще в новинку, и народу пришло много. Я старательно — с «американской деловитостью» — уложился в отведенные 45 минут, но первый же коллега, взявший слово в прениях, проговорил целый час, и публика стала таять. Содержание его полемики показалось мне хотя и вредным (он утверждал, что того, что я делаю, «делать нельзя»), но не столь страшным (ведь я, не дожидаясь разрешения, уже сделал, что хотел), как ее неумолкаемость.

Прагматика дискурса устроена так, что содержание, как правило, условно — оно всего лишь символизируется текстом, форма же реальна — она в буквальном смысле слова осуществляется, исполняется, так сказать, наносится слушателям. (В английском есть даже стандартная полшутливая формула академической вежливости: «I am not going to inflict the full version of my paper on you...»)

После ухода моего оппонента, известного ученого и либерала с почтенным диссидентским прошлым, организаторы, как могли, извинялись за него. Я, как мог, сохранял дипломатическую невозмутимость.

— Вы не обижайтесь. Он всегда говорит долго.

— Я не обижаюсь. Я вижу, что это человек, у которого единицей языка является речь. Соссюр бы меня понял...

Через пару лет я снова делал доклад в той же аудитории. Не успел я кончить, как на сцену решительно направился тот же оппонент. Столь полно-го дежа-вю я не ожидал (к тому же, народу было меньше, так что каждый слушатель был на счету), и у меня вырвалось что-то вроде:

— Как, вы опять будете говорить дольше меня? Нет, это немыслимо.

Я повернулся к задремавшему председателю (не знаю, что сказалось сильнее — прочитанный мной доклад или совершенный им накануне перелет из Южной Америки):

— Сколько у нас времени для выступающих в прениях? — и тут же огласил якобы услышанный ответ: — Десять минут.

Оппонент это проглотил и нашелся только сказать:

— Ну, тогда комплименты я опускаю...

— Да-да, переходите прямо к ругани. А за временем можете не следить, я вам сам скажу.

По истечении десяти минут он стал закругляться и последние слова проговорил уже пятясь на свое место. Дискуссия продолжалась с участием других коллег, мой оппонент еще несколько раз высказывался, так сказать, на общих основаниях и одно из своих полемических заявлений закончил словами:

— Зато я уложился в регламент.

— Не вы уложились, а я вас уложил.

Неумолкаемость моего оппонента давно стала в Москве притчей во языцех, но когда его пыта-

ются урезонить, он отвечает, что слишком долго молчал (понимай — при советской власти) и теперь имеет право выговориться.

Ссылка на «права» довершает картину. Программа у него запретительная (того-то думать «нельзя»), манера — монологическая (меня перебивать не смейте), мышление — блатное (я молчал, теперь вы помолчите), а самообраз при всем при том — демократический.

Очень характерен здесь элемент садистической сознательности. Еще ладно бы, ну заговорился, кто считает, что за занудство. Но нет, он в точности знает, что делает, и наслаждается этим.

Его подразумеваемый message состоит, как у толкающего пятичасовые речуги Фиделя Кастро, в том, что мы *хотим*, чтобы он продолжал, — рассказывай еще, тебя нам вечно мало... Ему, конечно, известна знаменитая формула, что способность долго не кончать — талант, нужный любовнику, но не оратору. Однако к себе он ее не относит. Другим хватит отведенного времени, но его — заслушаешься. Он любим, его чем больше, тем лучше. Логика, в общем, несложная: понасилую — стерпится — слюбится.

Он не уникален, разве что чересчур нагляден. Более утонченный вариант «желанного насилия» демонстрирует один мой видный, ныне американский, коллега (тоже бывший диссидент), который, несмотря на свое величие, всегда добросовестно укладывается в регламент. Он даже делает это несколько раз в течение конференции, ибо, воп-

реки цивилизованному порядку, одним докладом не ограничивается. Разумеется, он не при чем, — его «просили». В России, в годы застоя, будучи завсектором, он заставлял по два часа ждать себя и не начинать заседания с приглашенным докладчиком и специально собравшимися слушателями. И ждали. Чувствовали в этом некий кайф, причастность к чему-то такому, чего не жалко и подождать. Ведь лучшего применения, нежели ожидание великого человека, для времени и не придумаешь.

Другой мастер изнасилования в перчатках, по-прежнему и принципиально российский и к тому же активный демократ, еще более корректен: он выходит на трибуну со складным будильничком. Но это уже мало кого обманывает.

— Ну все, — прошептал мне в ухо на международном симпозиуме коллега-слушатель. — М. вышел с часами, это надолго.

Особый садистский шик выступлениям М. придает частое употребление по ходу доклада слова «регламент». Услышав его, истомившаяся аудитория вздрагивает в надежде, что избавление близко, но вскоре убеждается, что в идиолекте докладчика «регламент» является специальным термином — обозначением «режима в литературе», разумеется, репрессивного, сталинского.

Однажды мне пришлось прослушать его полуторачасовой заключительный доклад на конференции, где он был главным организатором и хозяином (а его жена — председателем данного за-

седания), — при регламенте 30 мин. Когда выступление перевалило за часовую отметку, я почувствовал, что начинаю корчиться на стуле и вот-вот не выдержу — заору «Регламент!» или чего похлеще. Я уже открыл было рот, когда услышал свое имя: докладчик заговорил о моих сочинениях. Теперь перебить его я уже не мог.

В кулуарах я все-таки прошелся на эту тему.

— Да-да, — сказал М. — Я рассчитал, когда ты можешь не вытерпеть...

В основе такого поведения «лучших людей» лежит, конечно, глубинное неприятие буржуазных ценностей — деления всего вообще и времени в частности на твое и мое. На Западе тебя уважают и ты себя уважаешь тем больше, чем большее уважение ты проявляешь к правам, территории и собственности другого. Но в России, с ее романтико-ницшеанским культом беспредела, попрежнему ценится пренебрежение к стеснительным и скучным нормам. Научное заседание мыслится не как упорядоченная процедура, в рамках которой председателю, докладчику, слушателям и участникам прений отводятся совершенно определенные роли и ограниченные отрезки времени, а как удобный плацдарм для прорыва, как возможность сказать, наконец, последнее, непререкаемое, пророческое Слово. Одним из неосознаваемых источников такого отношения к процедуре является, я подозреваю, со школьных лет засевшая в памяти формула из советского учебника истории о том, как Степан Халтурин (или Вера Засулич?) превра-

тил свой судебный процесс в суд над обвинителями.

Да был ли Освенцим-то?

Одна эмигрантка, живущая в Бостоне, очень страдала от наездов бесчисленных российских родственников ее мужа (оба евреи). Однажды она нашла, наконец, адекватное выражение для своих чувств:

— В чем дело с твоими родственниками?

— А что?

— Впечатление такое, будто ни Освенцима не было, ни Бабьего Яра...

Я долго восхищался этой фразой, полагая ее уникальной. Потом встретил нечто подобное у Шолома Алейхема. В «Блуждающих звездах» один персонаж говорит другому — настырному жулику: «Где вы были во время холеры?» Так что острота выдержана в классическом еврейском духе. Блеск же ее если и не уникален, то тем более эффектен, ибо садомазохистски инкорпорирует теорию о вымышленности Катастрофы.

Как ни садитесь...

Солженицынский заголовок «Как нам обустроить Россию» очень красноречив. О нем наверняка писалось, но за всем не уследишь.

Общая колодка — ленинская: «Как нам реорганизовать Рабкрин». (Солженицын 1918 года рож-

дения, ходил в советскую школу с середины 20-х до середины 30-х, потом учился в советских вузах, в том числе в ИФЛИ.) Но марксистское, административно-западническое «реорганизовать» ему, теперешнему, конечно, не в жилу, и он заменяет его исконным по духу «обустроить», а отталкивающую аббревиатуру «Рабкрин» — Россией.

Но, как и «Рабкрин», «обустроить» — несуществующее слово, неологизм (ни у Ушакова, ни у Даля, ни в 17-томном Академическом его нет), точнее — типичный солженицынский неоархаизм. Немного нескладный, самодельный, но, в общем, понятный. В нем слышится что-то бедняцкое, зэковское. Представляется какое-то затыкание дыр старой ветошью — «скромно, но просто» (Зощенко) и не дует.

Действительно, несмотря на двухэтажную приставку, «обустройство» явно имеет в виду обойтись минимальными наличными средствами, как само это слово обходится чисто русским языковым материалом, не прибегая к иностранному. Обернуться имеющимся — с той же нехитрой солдатской обстоятельностью, с какой нога обертывается портянкой.

Действительно, обустроить — не перестраивать. Обустройство предполагает, что обстановкой уже обзавелись, остается только обшить стены досками, обнести двор частоколом — и все образуется.

Я недаром нажимаю на приставку «об» — в ней (особенно рядом с «нам») отчетливо звучит общин-

ное, округлое, самодостаточное, каратаевское начало, желание огородиться от посторонних. Справить обувь, обиходить деток, в тесноте, да не в обиде, с миру по нитке — бедному рубашка, по одежке протягивай ножки.

Это та же нарочито русская утопия, что в ильфовском: «Съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное», только еще посконнее и безнадежнее. Перефразируя Радека: «Обустроить Россию можно, но жить в ней будет нельзя». Вспоминается также жванецко-черномырдинское «Хотели как лучше, а вышло как всегда», и гоголевско-пушкинское «Боже, как грустна наша Россия!..»

О РЕДАКТОРАХ

... а то, выходит, что я не столько писатель, сколько редактор — то есть околотературный человек.

К. Чуковский

Мои отношения с редакторами, в общем, всегда оставляли желать лучшего. Как шестидесятник, я был склонен винить Систему и тех, кто ей слишком соответствовал или недостаточно противостоял. Но как честный офицер, я самокритично старался обуздывать свое авторское и гражданское самолюбие и идти на конструктивные компромиссы. Неловко признаваться в затянувшейся наивно-

сти, но лишь в достаточно зрелом возрасте, напечатав около десятка тысяч страниц, я начал догадываться, что дело тут не столько в Системе и человеческих недостатках — редакторов и моих собственных, сколько в природе самих этих двух институтов, в дальнейшем именуемых Автор и Редактор. Ролевая структура последнего представляет собой нечто вроде трехглавой гидры из Младшего, Ответственного и Главного, соотносительные функции которых станут вскоре очевидны.

Хотя предполагается, что Автор и Редактор совместно делают общее дело, интересы их в общем случае различны, а часто противоположны. Это наглядно выявилось в моем зарубежном, а затем и российском постсоветском опыте, когда мне, по известной пророческой формуле, благодаря отсутствию советской власти, стало как-то легче, а проблема Редактора тем не менее не исчезла. Ибо при всех цивилизующих поправках суть дела не меняется — речь идет о власти. Правда, о власти всего лишь над текстом, но, во-первых, текст это вовсе не хухры-мухры, а как-никак Логос (особенно в России), и, во-вторых, власть, даже самая мелкая, по замечанию Рассела, «сладостна» («Power is sweet»).

Суть не меняется, но суть это еще не все, а может быть, и не главное. Бог (и дьявол) — в деталях. Поскольку какая-то власть неизбежна, постольку особенно дороги «мелкие», «формальные», различия между способами ее реализации. Советская власть, в частности, власть советского Редактора,

поучительна тем, что являет самую идею Власти в заостренном до наглядности виде. Более цивилизованные формы власти, в частности редакторской и издательской, ценны своей процедурностью, узаконивающей и тем самым сглаживающей многие властные проблемы. Особенно же интересны постсоветские феномены, в которых родимые пятна социализма наскоро прикрыты новыми овечьими шкурами.

В одном фельетоне Ильфа и Петрова сказано, что некая статья начиналась, как водится, с академических нападок на царский режим. Я тоже начну со сценок из проклятого прошлого, но ими не ограничусь, а главное, постараюсь показать, что интерес их, увы, не академический. Писать буду без имен, ибо дело не в лицах (иногда, в целях конспирации, я даже меняю пол моих героев), но с датами (историческая привязка важна) и, как говорится, только правду. Все взято «с источника жизни».

... Год 1970-й, кто еще помнит, юбилейный. Готовится выйти книжкой моя диссертация — «Синтаксис сомали». В одном из разделов рассматривается предложное управление, в этом языке очень оригинальное. Примеры взяты из передач сомалийского отдела Московского Радио, где ради сбора языкового материала я работаю на полставки. Одну из конструкций иллюстрирует оборот «памятник Мао Цзе-Дуну», — явление, в то время в Китае и соответственно в мировой прессе актуальное, но в нашей печати неупоминабельное. Зво-

нит издательский Младший — еврей-фронтовик, член партии, человек скорее симпатичный (а ныне покойный). Обращается ко мне по-начальственно-му на «ты».

- Ну, что ты там пишешь?..
- Что я пишу?
- Ну, что это у тебя там за памятник?
- А-а...
- Ну, замени ты его.
- У меня записи подлинные, с Радио.
- Ну, что ты, ей-богу?..
- Кого же вы хотите?
- Ай, ей-богу..
- Ну хорошо, пусть будет памятник Сталину.
- Ай...
- Тогда Гитлеру?
- Ну, перестань...
- Кого же вам надо — Ким Ир Сена? Иди Амина?
- Ай, ей-богу..
- Ну, ладно, пишите кого хотели.
- Кого я хотел?
- Вы знаете и я знаю...
- Ну, ладно...

Книга вышла. На стр. 251 можно видеть разные сомалийские обороты на тему о памятнике — кому же еще? — Ленину. Но это, выражаясь по-современному, всего лишь мягкое порно. Да и Мао Цзе-Дуна не особенно жаль. А вот история пообиднее.

... Начало второй половины 60-х годов, то есть, уже после Синявского и Даниэля, но до Чехосло-

вакии. Печатается наша с соавтором статья, реабилитирующая русский формализм. На решающей стадии верстки доброжелательный Младший (отсидевший в свое время в Гулаге) приглашает нас к себе и показывает места, которые «не пойдут». Мы будем их исправлять, а он носить к Главному на утверждение. Самого же Главного (кажется, чуть ли не члена ЦК), подобно кантовской вещи в себе, нам видеть не дано.

Начинается челночный процесс доводки, этакий раунд эзоповско-киссинджеровской дипломатии.

— Вот вы тут пишете: «... посмотрим, что было сделано в этом направлении русскими формалистами». Этого Он не пропустит.

— Но ведь в этом весь смысл статьи?! Почему вы нам раньше не сказали? Если этого нельзя, мы забираем статью.

— Забирать не надо, но писать об этом на первой странице тоже нельзя. Вы придете к этому где-нибудь в середине или в конце. Он читает в основном начало, а остальное так, пробегает.

— Ну, хорошо, тогда напишем: «... учеными ОПОЯЗа».

Младший уходит к Главному и вскоре возвращается с известием, что ОПОЯЗ, увы, не годится. Этот эвфемизм давно раскрыт, к тому же заглавные буквы так и лезут в глаза. Тогда мы предлагаем «науку 20-х годов». Но Главного не устраивает и это, ибо получается нежелательное выпячивание 20-х годов как некой идеальной эпохи в укор

современности; да и цифры торчат. Мы готовы дать числительное «двадцатых» прописью, но этого мало.

Тут кому-то из нас приходит в голову спасительная мысль — написать что-нибудь совсем неопределенное, например, «... в науке недавнего прошлого». Младший удаляется и — ура! — Главный дает «добро». Дальнейшее перефразирование продолжается уже без челночных операций и сосредотачивается на обеспечении эквивалентности числа печатных знаков в исходном и отредактированном тексте. Каким-то образом — каким, не помню — на этом этапе «наука» заменяется синонимичными ей «учеными». Мы подписываем верстку, где-то там, в мире ноуменов, ее подписывает Главный... Номер должен вскоре выйти в свет.

Первым о долгожданном выходе нам сообщает коллега-подписчик. Он вечером звонит по телефону со словами возмущения:

— Что вы наделали?

— А что?

— Вы назвали их «учеными недавнего прошлого». Эйхенбаум, Тынянов и Эйзенштейн, ладно, умерли, но Шкловский-то и Пропп живы и продолжают работать...

Я бросаюсь писать Проппу, у которого недавно побывал, а мой соавтор звонит Шкловскому, который его привечает. К счастью, «старики» статей остаются довольны, а на ляпсус смотрят снисходительно — в свое время они прошли и не через такое.

... В конце 1970-х годов ко мне неожиданно обратился вполне «свой» Редактор (Младший) из ведущего интеллектуального журнала с просьбой написать о книге знаменитого итальянского коллеги — тем более, что я был единственным ее владельцем в Москве. Я согласился, но заранее оговорил, что никакого марксизма-ленинизма у меня не будет. Младший сказал, что марксизма у них хватает в других разделах, а от меня требуется профессиональная рецензия, которую они спокойно опубликуют без купюр.

Ну, без купюр-то это положим. Статью прочитал Главный, и она ему даже понравилась. (Это впервые что-то мое понравилось Главному с простой крестьянской фамилией типа Дронов.) Но и он потребовал выкинуть множество сомнительных имен вроде Сталина и Троцкого, а также придрался к частоте упоминаний о Романе Якобсоне, разрешив употребить эту крамольную фамилию не более двух раз. Тогда я прибег к криптографии и насытил текст прозрачными отсылками к якобсоновским работам, в том числе к его анализу предвыборного лозунга «I like Ike» («Я люблю Айка»), протащив таким образом еще и Эйзенхауэра.

Статья постепенно двигалась в печать, когда Младший позвонил мне и от имени уже не партийного Главного, а прогрессивного Ответственного (с, наоборот, незабываемой кавказской фамилией), сообщил, что статью надо будет сократить почти вдвое. Свое изумление я выразил — для передачи Ответственному — в столь язвительной

форме, что тот почел необходимым принять меня лично.

Выслушав его аргументы (не помню их, да они и не интересны — дело не в них, а в демонстрируемой ими власти, и отвечать на них можно тоже только силой), я сухо указал ему на историю нашей договоренности о рецензии (размер, содержание, сроки), договоренности, систематически журналом нарушаемой, вопреки его возвышенно-философскому названию и либеральной репутации. Спор затянулся, и Ответственный сказал что-то в том смысле, что он занят. Я немедленно парировал, подчеркнув, что я и сам человек занятой, профессионал (за какого они меня, собственно, и брали), и мне проще выбросить рецензию в корзину, чем продолжать эту дискуссию с людьми, не отвечающими за свои слова. Это был неотразимый ход, и рецензия вышла в заказанном размере.

Я люблю ее. В ней я первым предложил ввести в русский язык слово *privasy*. (Кажется, оно все еще не позаимствовано, хотя от маркетингов, дилеров и киллеров рябит в глазах.) Итальянец в дальнейшем приехал в Москву и обнаружил знакомство с моей рецензией, в частности — с критикой неточности его методов.

— Ты не обиделся? — спросил я его.

— Наоборот. Итальянские коммунисты любят обвинять меня в чрезмерном техницизме, а теперь я им говорю: *Guardate, Mosca!* («Смотрите — Москва!»).

Ответственный тоже в какой-то мере прославился, но потом умер. Младший стал уважаемым ученым. Итальянец тоже жив и знаменит донельзя. Главный возвысился было при перестройке, но с тех пор о нем не слыхать. Автор уехал и приезжает ругаться с новыми Редакторами...

Полудиссидентство и ученость Ответственного кавказской, как говорится, национальности (дело, разумеется, не в ней) перебрасывают мостик в теперешние времена и нравы, когда диссидентская утопия оказалась у власти (по крайней мере, в СМИ). Вот еще одна аналогичная фигура. Опять-таки крупный ученый (ныне покойный), вождь научной школы, Главный Редактор целой престижной серии. Маринует статью года три, потом через Младшего мне удается узнать, что том двинулся, и даже добыть верстку. В ней я обнаруживаю критическую врезку от редакции и отсутствие дорогих мне эпитафий, причем мой информант сообщает мне, что менять что-либо уже поздно. «Да ты позвони Ему, Он в Москве, у такого-то», — добавляет мой друг-блондин, явно предвкушая назревающее столкновение.

Звоню, застаю с первого раза, требую восстановить эпитафий.

— Да они вам не нужны. Зачем они вам?

— Во-первых, они кратко выражают суть, во-вторых, я считаю, что их автор незаслуженно забыт или замалчивается. (В частности, вами, — не говорю я.)

— К тому же у нас нет места.

— Позвольте, но моя статья не так уж длинна, лежит у вас давно, и вы ни разу не заикнулись о размере... Места вполне хватит, если вы снимете свою врезку, которая мне действительно не нужна.

— Я бы не выставял этих эпиграфов.

— Но вы их и не выставяете. Это моя статья, а не ваша.

— Знаете что, я спешу на лекцию и вынужден прервать разговор. До свидания.

— До свидания.

Свиданию, однако, не суждено было состояться, ибо, утомленный истеблишментом и антиистеблишментом почти в равной мере, я эмигрировал. Статья же через некоторое время вышла — с эпиграфами и без врезки. Вопреки официозу напечатать диссидента-отъезжанта было для этого Главного делом чести, доблести и геройства, тут уж не до тонких семиотических разногласий... Поведение, конечно, насквозь советское, и противостоять ему можно лишь более сильным оружием — непостижимой для Редактора-тоталитариста решимостью забрать статью, а то и вообще уехать.

Вот еще аналогичный эпизод, где в роли Главного выступает Проректор по научной работе моего Института (тоже уже покойный; читатель должен понять неизбежно эдиповский — по отношению к отцовским фигурам Редакторов — характер этих упоминаний о смерти). Готовится к печати сборник трудов нашего отдела, с моим пре-

дисловием. Год 1964-й, мы молоды, полны научно-энтузиазма и вселенских претензий. Эпиграфом к своему предисловию о семантическом подходе к словарю я беру гамлетовское «Words, words, words» («Слова, слова, слова»). Мой непосредственный начальник (так сказать, Младший) сообщает мне, что Главный эпиграфа не пропускает. «В таком случае, — говорю я, — я снимаю Предисловие, а заодно и две другие свои статьи в сборнике.» Эпиграф остается.

Уверенность Редакторов советского закала, что это ИХ текст (а не Автора), имеет глубокие социальные корни, идеологические и культурные. С одной стороны, на Редактора была возложена роль партийного комиссара при политически незрелом Авторе-интеллигенте; с другой — ему приходилось «доводить» язык, стиль и интеллектуальный уровень полуграмотного Автора-выдвиженца. («Сирожь, — говорил своему ученому Редактору, моему знакомому, один такой Автор, — ты если найдешь у меня какую-нибудь мисэл, ты ее нэ ви-черкивай, ты ее развэйй...» Акцента у него могло бы и не быть, а вот ситуация с отсутствием «мысли» была частой.) Со временем оба типа Автора смешались в сознании Редактора, и он счел себя полноправным хозяином как содержания, так и формы текста. Его абсолютная власть опиралась, помимо эксплуатации естественного авторского желания напечататься, на баснословные тиражи и гонорары официальной печати. (Помню, как ошеломлены были мы с соавтором статьи об «уче-

ных недавнего прошлого», когда получили гонорар из расчета 300 рублей за лист, то есть, трех месячных зарплат начинающего специалиста, — за то, что мы написали бы все равно, да еще приплатили бы, если б было чем; тут мы впервые почувствовали подлинную цену Слова.)

Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Вот история, происшедшая не со мной, а с почтенным ученым старшего поколения. Молодая женщина-Редактор, его бывшая ученица, решительно правит его статью. Он по возможности соглашается, но во многом отстаивает свой вариант, указывая на возникающие в результате правки несообразности. Она извиняется:

— Знаете, я спешила, исправляла на ходу.

— Простите, но почему же вы полагаете, что вы можете быстро, на ходу, исправить то, что я писал не на ходу, а тщательно обдумывая?..

Тут характерно полное отсутствие какой-либо личной злобы, интеллектуального неуважения или идеологической цензуры: Редактор безмятежно уверена, что делает полезное и доброе дело. Власть въелась в ее клетки и применяется автоматически.

... — В вашей статье надо заменить слово «педалирует», — говорит мне году в 1969-м молодой коллега, он же Младший в соответствующем журнале.

По идеологической линии статья, несмотря на отравленность «структурализмом», уже одобрена Главным (евреем, и потому членом не всесоюз-

ной Академии Наук, а, выражаясь по-современному, Академии Ближнего Зарубежья). Он начертал ленинского типа резолюцию: «Печатать, но дать оценку в комментарии от редакции», то есть, опять-таки врезке. (А вот еще курьез из тех же времен и в том же роде. Киевский коллега, занятый в качестве Младшего в некой украинской Энциклопедии, просит меня написать о работах нашей группы, — дескать, мне и карты в руки. Пишу. Печатают, но приятель для смеха присылает автограф-резолюцию Главного, известного официального поэта: «Треба вказати на небезпеку ідеалістичного потрактування природної мови».) Но вернемся к педалированию.

— А что, это слово внесено в какой-то запретный список?

— Нет, просто вы его употребляете не в том смысле.

— Тогда приведите мне, пожалуйста, пример его правильного употребления.

— Ну, может быть, вы и правы, но я бы его не употреблял.

— Но вы его и не употребляете. Его употребляю я. Скажите, Лева, вы как-то подспудно убеждены, что владеете русским языком лучше меня?

— Ну, вы просто не представляете себе, какую галиматью иногда приходится править?!..

В общем, слово «педалирует» удалось отстоять. О дальнейшей судьбе Младшего у меня сведений нет. Скорее всего, он жив, хотя жизнью это, конечно, не назовешь.

Переходя к постсоветской ситуации, можно начать с метаморфоз, претерпеваемых бывшими носителями официальной идеологии. В разгар перестройки некий Главный спрашивает, нет ли у меня статьи об одном воскрешенном писателе, которому вот-вот исполняется сто лет со дня рождения, а у журнала нет подходящего материала. Такая статья у меня как раз есть, я им ее даю, и она быстро продвигается к выходу. Младший препятствий не чинит, но на стадии верстки Ответственный (тогда еще партийный, в общем, не вредный, но удручающе ограниченный и, видимо, страдающий каким-то внутренним недугом, отравляющим его взгляд на мир), сделав мне различные мелкие замечания (которые я, как всегда, принимаю), вдруг выдвигает содержательное — и какое!

— Вот вы тут пишете о соцреализме и его влиянии на этого писателя.

— Ну и...?

— Но ведь никакого соцреализма не было.

— ???

— Ну, бездарь всякую мы же не будем называть «измом», да еще влиятельным. В общем, это надо убрать.

— Позвольте, мы с вами знакомы почти тридцать лет. То у вас нельзя без соцреализма, то надо без него. А где в вашем репертуаре «можно»? Оно было бы тем более уместно, что власти-то у вас прежней больше нет. И статью просите напечатать вы, а не я, и других журналов полно, и гонорар мой обесценится быстрее, чем номер выйдет.

Так что давайте-ка я впишу, что соцреализм понимается в смысле Андрея Синявского и Катерины Кларк.

Тогда это еще звучало провокационно...

Ослабление редакторской власти благодаря фактору рынка лишь очень медленно отлагается в сознании и навыках Редактора. Где-то в начале 90-х дружественный Младший в одном прогрессивном журнале вдруг сообщает мне, что лежащая у них статья (вполне актуальная) не пойдет. Почему? Начальство (Ответственный? Главный?) считает, что у них уже напечатано несколько моих материалов.

— Прекрасно, — говорю я, — не будем перегружать журнал моими опусами. Давайте я отдам статью куда-нибудь еще. Не можете ли Вы, уже как мой друг, посоветовать, куда именно лучше всего?

— Ладно, я попробую поговорить с начальством еще раз...

Статья выходит в следующем же номере.

Кстати, дальнейшее взаимодействие (мое и известных мне других Авторов) с тем же Редактором, но уже в роли Главного, вынуждено строиться по той же схеме. Возможно, он и ему подобные полагают, что овладели законами капиталистической конкуренции, не подозревая, что в западном издательском деле (как и на рынке вообще, за исключением разве наркобизнеса) конкуренция давно введена в цивилизованные рамки, избавляющие партнеров от постоянных силовых эксцессов.

Надо сказать, что само наличие у Редактора власти над Автором недостаточно для объяснения его установки на присвоение текста. Тут действует еще один фактор. Подобно тому, как Критик (= Автор) это, как правило, несостоявшийся Писатель (*écrivain manqué*), Редактор — это несостоявшийся Автор. Соответственно, его болезненно раздражает настырная плодовитость Авторов, вечно теребящих его по поводу скорейшего опубликования их сочинений. Поэтому, наряду с разнообразными внетекстовыми проявлениями власти (садистическими играми с Автором, вымогательством у него денег, борзых щенков, мелких услуг и т. п.), Редактор с особым упорством направляет ее на «авторизацию» чужого текста.

Некоторые типичные приемы такой авторизации нам уже встретились. Это замена отдельных слов, выбрасывание кусков текста, врезка. С последней мне вновь пришлось столкнуться, когда один уважаемый мной Ответственный, на которого в моей статье было несколько отдающих ему должное ссылок, разразился целым полемическим послесловием. Оно состояло на одну треть из фактографических придинок и поправок, которых он, манкируя собственно редакторскими обязанностями, не высказал мне за те два года, что статья лежала в журнале; на вторую — из аргументов в защиту чести мундира того деятеля советской культуры, о котором у меня шла речь (в старые времена его принято было то хвалить, то травить, то подходить к нему с одной стороны — с другой сто-

роны, но теперь он ненадолго вошел в пантеон новых святых, и Ответственный, видимо, решил, что моему субверсивному анализу необходимо «дать отпор»); а на третью — из каких-то ревнивых полуприсоединений к моей точке зрения. Мысль, что Автор есть автономная пишущая личность, отдельная от журнала и Редактора и, значит, в отмежевании нет необходимости, как видно, все еще не пустила корней в постсоветском редакторском менталитете. Более того, не выступая более в роли проводника постыдного официоза, Редактор (часто бывший диссидент) тем увереннее и с совершенно чистой совестью вторгается в авторский текст.

Сравнительно недавно мой старый приятель, не замеченный ранее ни в чем таком советском, оказавшись вдруг Ответственным Редактором одного нового журнала, заявил мне по электронной почте, что его настолько «ранит» мое покушение на некие культурные святыни, что он этого в своем журнале не потерпит. Я стал разъяснять ему про принцип *Let us agree to disagree* («Давайте согласимся иметь разногласия») и т. п. и призывать не злоупотреблять своим служебным положением в личных целях, но проблема была разрешена только силой, — когда я на процедурных основаниях (они имелись) добился отстранения его от работы с данной группой материалов. Мы даже помирились, но понять, что соблюдение процессуальных норм важнее содержательных разногласий и что первая задача Редактора — отделить свою

личность от своей общественной функции, он так и не смог. Ведь современный российский человек полагает, что наступившая наконец свобода означает полный отказ от каких-либо правил и ответственности — настоящий беспредел. (Как сказала одна моя американская аспирантка, бывшая в Москве на стажировке, «они строят капитализм, а представляют его себе по Марксу — как всемерное ограбление и эксплуатацию кого и как можно». Победил, так сказать, не капитализм, а «Капитал» из семинара по марксизму-ленинизму.)

Кастрирующие ножницы Редактора (не забудем о его отцовской, по Фрейду, природе) безошибочно нацеливаются на самое новое, интересное, оригинальное, словом, живое в тексте. Так, еще в старое время некий Младший, похвалив конкретный разбор, содержащийся в поданной ему статье, обещал ее протолкнуть — при условии, что я выброшу из нее все свои «теории». «Спасибо, — ответил я, — но я не смогу воспользоваться вашим непочетным предложением. Мне дороги именно «теории», на которых, кстати, держится понравившийся вам разбор». Тут я понес почти полное поражение, которое смог лишь слегка компенсировать публикацией статьи в другом журнале с последующим преподнесением Младшему (ненавистнику «теорий», хотя и служившему в Отделе Теории) оттиска, где ему была высказана благодарность за ценные замечания.

В своих кастрационных действиях Редактор, особенно Младший, часто руководствуется спус-

каемыми ему «сверху» установками, воплощающими, в полном согласии с Фрейдом, цензуру «сверх-Я», то есть традиционной официальной культуры. Однако, для того чтобы служить ее идеальным проводником, недостаточно быть безразличным исполнителем директив. Страсть, чутье и глазомер, необходимые Редактору для ампутации самых живородящих органов текста, обеспечиваются его собственной, личной завистью-ненавистью ко все-му тому новому и живому, что отличает Автора от него самого.

Теперешний Редактор, конечно, уже не так страстно лезет в текст, как прежний. У него меньше власти, средств, штата, ему некогда (он работает еще в трех местах и старается провести большую часть времени за границей или хотя бы на даче). Тем не менее, леопард не может переменить свои пятна. Многое ему еще подвластно.

Так, Редактор ревниво отстаивает свою власть над важнейшей частью текста — его заглавием. Написав однажды по просьбе Младшего некие юбилейные воспоминания о нашем с ним общем друге, я вскоре увидел их в печати под заголовком, совершенно уникальным в моем списке публикаций: «Грани таланта». Это было в Нью-Йорке, в диссидентско-эмигрантском кругу, то есть, в совершенно, казалось бы, несоветском хронотопе (и решение, наверно, принадлежало Главному, а не моему знакомому Младшему), и тем не менее...

Еще одна подобная виньетка — невозможность (в начале 1980-х годов) получить в библиотеке

Корнелльского Университета роскошный альманах «Аполлон-77», изданный на собственные деньги Михаилом Шемякиным, сумевшим под одной обложкой собрать чуть ли не всю тогдашнюю литературную и художественную эмиграцию. Причина, как разъяснил мне один видный русский писатель макабрического направления, работавший в этой библиотеке на подножке книг (ныне он в полной славе), — нежелание двух русских женщин-библиотекарш предыдущей, так называемой второй, волны эмиграции выдавать этот «непристойный» том.

А много позднее, уже в начале 90-х, мне пришлось снять свой доклад на международной конференции, посвященной столетию очередного великого русского еврея, поскольку Ответственная за программу недавняя русская эмигрантка сочла недопустимыми мои вполне академические сопоставления этой ныне культовой фигуры с одним современным литератором, для нее и некоторых других одиозным. Дискриминация меня как Автора, а «одиозного» писателя как объекта исследования продолжилась и на собственно редакторской стадии издания трудов конференции. Мой давний знакомец-полудиссидент, выступивший в роли Главного Редактора этих трудов, разделил линию Ответственной. Человек он в высшей степени ученый, но плюрализм у него, скажем так, прихрамывает — его стандартный отзыв о многих писателях: «Он не существует!» (Осенью 1994 года в Лос-Анджелесе он же с пеной у рта отстаивал

передо мной прошлогоднюю тогда стрельбу по парламенту, в ответ на что я более или менее предсказал ему «первую» Чечню...) Подобное проникновение дремучих российских нравов в сферу западной культуры можно сравнить с происшедшим в последние годы выходом русской мафии на арену международной организованной преступности.

Но вернемся к собственно редакции. Власть над заглавием — лишь верхушка айсберга, не растаявшего и после всех оттепелей. Ту же природу имеет, например, понятие «тематического выпуска», в котором характерным образом сталкиваются интересы Автора и Редактора. Автор статьи, естественно, хочет увидеть ее напечатанной как можно скорее — чтобы, наконец, осчастливить мир своими новыми идеями, прославиться, увеличить список публикаций, продвинуться по службе, получить гонорар, наконец, просто забыть об этой статье и перейти к следующей. Статья, однако, не появляется. Ибо Редактору нужна не отдельная статья, пусть даже отличная, но чужая, а нечто свое. Это «свое» и есть тематический выпуск, составленный Редактором (часто с его предисловием) путем придерживания соответствующих статей. Вместо того чтобы печатать статьи Авторов по мере их поступления, как то приличествует периодическому органу (в буквальном переводе с французского, «журнал» значит «ежедневный», от слова *jour*, «день»), Редактор предпочитает издать нечто, по возможности приближающееся к собственной книге...

В рамках подготовки тематического выпуска Редактор получает дополнительное право требовать от Автора переработки статьи — подгонки ее к формату выпуска по содержанию, композиции, размеру и т. д. А в худшем случае, Главный может оттягивать публикацию выпуска и специально — с целью позаимствовать у Автора его идеи, «развить» их, применить их к другому материалу и, наконец, свысока рассмотреть их в своем предисловии или иным образом воспользоваться своей безраздельной властью над находящимся в его портфеле текстом.

Более слабой формой утверждения Редактором своей власти над текстом являются всевозможные эзотерические соображения: о «формировании номера», подразумевающие творческую непредсказуемость Редактора, иными словами, его моральное право на полный произвол; о системе рубрик, в которую статья Автора почему-то никогда не укладывается; о принятых размерах материалов — статья может оказаться как слишком длинной, так и слишком короткой; а также об ориентации на читателя, вкусы и потребности которого Редактору якобы точно известны. (Один писатель как-то сказал мне, что послушать некоего знакомого нам обоим Главного, — читатель сидит у него прямо в шкафу, и он в любую минуту может с ним проконсультироваться).

Еще одна вариация на ту же тему — ссылки на актуальность/неактуальность материала. Как-то уже в новые времена некая Младшая загорелась

идеей издать книгу моих статей у себя в общественно-литературном издательстве. Я подал примерный состав сборника, Младшая его одобрила и понесла к Ответственной. Та уверенно отмела несколько статей как неактуальные. Я отказался от дальнейших переговоров, самолюбиво заявив, что то, что актуально сегодня, станет неактуальным завтра, а мои статьи останутся, какими были. Разговор происходил в июле 1991 года, то есть, за месяц до путча и, значит, полного распада всего, что было так актуально, увы, так долго.

За якобы профессиональным редакторским дискурсом — тематический выпуск, формирование номера, рубрики, актуальность — отчетливо просматривается типичная для бюрократических структур установка на упрочение и расширение собственной паразитарной роли. Ведь с точки зрения здравого смысла очевидно, что всякий журнал интересен ровно настолько, насколько хороши и новы содержащиеся в нем материалы, независимо от их длины, рубрикации и тому подобных следов редакторской деятельности. Как и в случае с правительственными структурами, желательнее минимальное и лишь сугубо служебное вмешательство Редактора в собственно производительную деятельность Автора. Редактору достаточно привлечь хороших Авторов и совсем не нужно лезть к ним в «соавторы». Как и в цивилизованной гражданской жизни вообще, разрешено должно быть все, что не запрещено, а не наоборот.

Наряду (и вместе) с подменой авторства, важнейшим орудием редакторской власти является сам тот временной плен, в который попадает Автор, обреченный на ожидание. Чем дольше журнал не печатает статью, тем большей оказывается моральная и эмоциональная «инвестиция» Автора, понимающего, что в другом месте ему опять придется становиться в конец длинной очереди (и хорошо еще, если речь идет не о Редакторе единственного журнала по данной специальности). Редактор, между тем, обнадеживает Автора, сковывая его волю и наращивая свою власть. Не поддаваться этому — целое ницшеанское искусство.

Давным-давно мой учитель (молодой, но уже знаменитый филолог) поразил меня, сказав, что ему надо срочно кончать какую-то статью, а на мой вопрос, что значит «срочно», ответив, что «срочно» — это когда верстка должна была уйти на прошлой неделе. Тогда я воспринял это как очередной ядовитый комментарий по поводу сумасшедшей (и по-сумасшедшему романтической) советской действительности. Но теперь, с высоты многолетнего опыта, я склонен усматривать в словах шефа формулировку хорошо отработанной технологии борьбы с властью Редактора. С некоторых пор я и сам стараюсь действовать так же: заранее подавать некую «рыбу», с тем чтобы в последний момент подменить ее чем-то новым; в ответ на срочный заказ всучивать именно то, что я в это время пишу; предлагать одну и ту же статью

сразу в несколько мест; и т. д; то есть, в сущности, выть совершенно по-волчьи.

Несправедливо было бы кончить, не коснувшись западной ситуации. Первое, что следует сказать, это что высокая степень процедурной организованности взаимоотношений Автора с Редактором снимает значительную часть напряженки. Получив статью, Редактор сообщает Автору, в какой срок (обычно три месяца) он соберет необходимое число внутренних рецензий (обычно две) и, в случае благоприятных оценок, в какой срок (обычно за год-полтора) опубликует статью. Внутренние рецензии являются вдвойне закрытыми (double blind): Автор не знает, кто Рецензенты, Рецензенты не знают, кто Автор. Для этого Автор, а за ним, если надо, и Редактор, предельно «анонимизируют» статью; Автор знакомится с рецензией тоже в аналогичным образом обезличенном виде.

В современной российской аудитории, сколь угодно либеральной и просвещенной, рассказ о «двойной закрытости» неизменно вызывает недоверчивые смешки, да и вся картина внутреннего рецензирования принимается в штыки как типичный западный вздор. Никто не верит ни в анонимность процедуры («Все равно все всех знают и узнают!»), ни в объективность процесса («Все равно все делается по знакомству!»). Небезынтересны в этой связи два эпизода из моего американского опыта.

Как-то раз один из славистических журналов прислал мне на внутреннюю рецензию статью о

писателе, которым я как раз занимался. Мне, конечно, было любопытно, кто ее Автор, но по анонимному тексту я мог составить себе лишь его приблизительный научный портрет. Я решил, что это талантливый начинающий ученый, аспирант или молодой «доктор» (Ph. D., по-русски — кандидат). Я решил по-отечески (!) помочь ему и написал, что статья явно заслуживает опубликования, но Автору могут быть полезны следующие примерно двадцать замечаний и советов, каковые я старательно сформулировал. На стандартный вопрос (на бланке отзыва), требую ли я присылки мне переработанного варианта статьи, я ответил, что нет, ибо полностью доверяю Автору. Прошел, может быть, год, и, однажды, раскрыв очередной номер журнала, я увидел статью, которую рецензировал, а под ней — подпись... почтенного коллеги, автора многих книг. Мои замечания были по большей части учтены.

Это к вопросу о «все всех знают». А вот история на тему «по знакомству». Зная (в основном, издали) одного Главного, я предлагаю ему посвятить целую рубрику некой юбилейной теме. Он советуется со мной, кого еще пригласить, назначает сроки. Я подаю статью, она уходит на рецензирование, и в обусловленный срок Главный пересылает два анонимных и прямо противоположных отзыва. Согласно первому, статья никуда не годится, ее бесполезно дорабатывать, а потому Рецензент не дает конкретных советов: статью, по его мнению, надо просто выбросить и забыть.

Второй Рецензент, напротив, в восторге от содержания статьи (каковое он излагает с завидной четкостью) и ее стиля; он делает несколько мелких замечаний по композиции и рекомендует статью к немедленной публикации. Эти отзывы Главный сопровождает собственным письмом, где иронически комментирует положение дел в нашей профессии, сетует на трудность своих обязанностей и сообщает, что пользуясь своей ролью арбитра, решил статью опубликовать.

В двух последующих эпизодах картина американского редакторства предстанет менее идиллической.

Редактор одного из ведущих книжных издательств, в ранге, приблизительно так, Ответственного, по собственной инициативе находит меня и заключает со мной договор на книгу для его серии, мною ценимой. Года два я работаю над рукописью и с небольшим опозданием, осенью (эта деталь окажется важной) подаю ее. Получение издательством внутреннего отзыва (в высшей степени положительного) занимает почти всю зиму и весну, и как быстро я ни дорабатываю рукопись после этого, уже лето — год ушел. Далее рукопись поступает к нанятому со стороны Редактору по Стилю — вроде бы, то, что надо. Стилистическая правка приходит лишь весной и вызывает у меня множество сомнений, которые я, однако, подавляю, будучи все-таки иностранцем. (Игнорирую я лишь опасение Стилиста, что сравнение литературоведа с матадором может не понравиться фе-

министической общественности как проникнутое «мужским» духом.) Отсылаю исправленную рукопись и через какое-то время получаю от издательского Младшего невероятное письмо. Он, наконец, добрался до моей рукописи и ясно видит, что Стилист был в большинстве случаев неправ, и вот теперь ему, Младшему, приходится восстанавливать практически все, что я ранее скрепя сердце исправил. Я благодарю его, иронизирую по поводу того, что издательство умудрилось найти Стилиста, владеющего английским хуже иноязычного Автора, и обещаю когда-нибудь предать историю гласности. За этими делами опять наступает лето, а еще год с лишним книга проводит где-то между издательством и типографией (на стадии корректуры я окончательно перестаю разговаривать с Ответственным, но зато Младший работает толково) и выходит ровно через три года после сдачи рукописи.

Что тут можно сказать? Чем так редактировать, лучше вообще не редактировать. Если Рецензенту рукопись нравится, зачем тянуть с отзывом так долго (отрицательный отзыв — другое дело, его нужно аргументировать). Мало того, что Стилист никуда не годится, почему-то Младший заглядывает в его правку не до, а после Автора! У меня периодически возникало ощущение, что издание книг не является основным делом всех этих людей. Можно было бы заподозрить, что на самом деле они занимаются отмыванием каких-нибудь нарко-денег, но боюсь, что этого им бы никто не

доверил, — скорее всего, они просто предаются идеологически выдержанной тусовке... Я даже как-то сказал Ответственному, что они работают, как в России, — с той разницей, что россияне при этом испытывают острый комплекс неполноценности по отношению к своим, как они полагают, суперэффективным американским коллегам.

... Двое известных славистов устраивают международную конференцию по модной теме, под которую получают баснословный грант. Пообещав издать труды конференции, они (уже в роли будущих Редакторов) собирают у участников рукописи; на год забывают о них; кое-как составляют сборник, который к концу следующего года справедливо отвергается неким издательством; сидят на рукописях еще год; и, наконец, убеждают другое издательство (известное своей медлительностью) принять сборник. Детали опускаю, но на сегодня со времени конференции прошло пять лет, а корректур еще не было*.

За это время мой доклад был опубликован трижды — раз по-английски и два раза по-русски. Это естественно — Автор стремится печататься, у Редактора же какие-то другие задачи. В частности, если Редактор это бывший Организатор конференции, то все самое главное им уже достигнуто — престижный грант, конференционная тусовка,

* 2000: Том все-таки вышел.

огни рампы. Какая скука возиться после этого с чужими текстами!

Отличие от российской ситуации, конечно, налицо. Западный Редактор грешит не столько крутым вмешательством в текст Автора, сколько полным к нему равнодушием. Кроме того, бумага лучше...

P. S. Это было написано летом 1995 года и вскоре появилось в «Знамени» (1996, No. 2). Наличие печатного текста позволило отсылать к нему моих последующих Редакторов как к своего рода проекту договора. Один Младший даже сам доложил мне (по электронной почте), что вот, мол, прочел, проняло, и отныне он будет делать хорошо и не делать плохо. Я поздравил его с таким подходом, и в наших деловых взаимоотношениях наступил медовый месяц, но, будучи, увы, лишь Младшим, он, в конце гонцов, обнаружил свою институциональную природу.

Возникает вопрос (и мне его задавали): неужели на моем авторском веку не попадались и толковые редакторы? Попадались. Называть их поименно не буду, как не называл описанных выше, но искреннюю, хоть и запоздалую, им благодарность выразить рад, вместе с извинениями, что принес их в жертву риторически соблазнительной схеме классовой борьбы между Редактором и Автором. Надо бы написать о них во весь голос, — по-гоголевски отвести под это целый второй, да, пожалуй, и третий том.

Пришелец

Когда четверть века назад я заговорил об отъезде, один приятель-физик (еврей, но не дурак выпить) сказал: «Зато тут ты с полуслова понимаешь каждого пьяницу». — «А зачем мне его понимать», — холодно ответил я. Однако разговор этот разбередил-таки во мне тайный семиотический страх потери безусловного контакта с окружающими. За годы эмиграции волнения улеглись — не потому чтобы у меня прорезался, наконец, абсолютный слух, а потому что в разношерстной Америке хватает относительного.

Владея английским лучше половины местных жителей, знаюсь я в основном с российской публикой. Но у меня есть и набор американских масок, и среди них роль бухгалтера жилищного кооператива. Эту чуждую должность я взвалил на себя ради двух роскошно разросшихся деревьев, заслоняющих мою верхнюю веранду от улицы. Соседи периодически покушаются срубить их и заменить молодыми саженцами. Аргументация варьируется: стрижка крон дорожает, корни подтачивают фундамент и корежат асфальт, возможны иски, штрафы. Но я провижу за этим подспудную приверженность американцев типовому архитектурному эскизу: геометрически четкий фасад и на его фоне дерево — изящная вертикальная палочка с парящим над ней полукруглым росчерком. Я горячусь на собраниях, пишу полные риторического яда письма председателю кооператива, нако-

нец, угрожаю отставкой, — и понимание наступает.

В остальном жизнь кондоминиума лишена драматизма. Уровень преступности в Санта-Монике невысок: нет граффити, не слышно ограблений. Цена недвижимости растет. Беспокоят разве что бездомные, забредающие по своим нуждам в наш подземный гараж. На оборонительную автоматическую решетку кооператив скупится, а наступательные действия затруднены атмосферой святости, окружающей в Штатах все мыслимые меньшинства. Для бомжей издается даже специальный печатный орган под остроумным названием «Hard Times», сочетающим английскую газетную ономастику («The New York Times») с диккенсовскими коннотациями («Тяжелые времена»).

Когда перед нашей гаражной дверью (она ближе всех к улице и водоразборному крану) стали обнаруживаться следы ночных попок, утренних омовений и повседневных оправок, Катя быстро вычислила виновника — недавно появившегося в квартале бомжа, облаченного в стандартное серо-черное тряпье, но примечательного своей странной позой. Припав на одну ногу и глядя куда-то вдаль, это приبلудное существо часами неподвижно стояло на углу напротив, и когда Катя убедила меня, что как член правления, квартировладелец, гражданин и мужчина я больше не могу уклоняться от вызова, я знал, где его найти.

Мобилизовав свои запасы праведного собственного гнева, с одной стороны, и по-

литкорректной выдержки, с другой, я пересек улицу, подошел к бродяге и подчеркнуто внятными, гипнотизерским тоном, каким говорят с детьми, больными и иностранцами, продекламировал:

— Вы не должны ходить туда. — Я пальцем указал на гараж. — Это частная собственность. Туда нельзя. Если вы будете туда ходить, вы знаете, что будет. Мне придется вызвать полицию. И вы знаете, что будет. Больше туда не ходите.

В продолжение этого монолога на Special English его адресат сохранял полную непроницаемость. Он не изменил позы, не перевел на меня своего потустороннего взора, вообще никак не удостоил меня вниманием. Я решил проиграть пластинку еще раз.

— Послушайте, — начал я. — Вы не должны ходить туда. Это частная территория...

Бомж повернулся ко мне, и я увидел его правильное, дочерна загорелое лицо, выразительные глаза и четко очерченные губы, которые произнесли:

— What are you, some kind of fucking alien?!.. («Кто ты такой — какой-то чужак ёбаный?!»)

Alien — богатое слово: оно значит и «чужеземец», и «иммигрант без гражданства», и «инопланетянин, пришелец». Крыть было нечем. Бормоча «Police, I will call the police...» («Полицию, я вызову полицию...»), я удалился на свою территорию — отчитываться в провале карательной операции и смаковать ее семиотические аспекты.

Семантика не даром уступила ведущую роль прагматике. Кое-как мы с настоящим американцем все-таки поняли друг друга — на другой день он исчез с нашего горизонта. Видимо, откочевал в какие-то более родные палестины, где не злоупотребляют словом «полиция» и хотя бы не коверкают его по-басурмански.

Смерть В. Ю. Розенцвейга

Он между нами жил... То есть, в сущности, жил за границей (родился он в Румынии, учился во Франции), хотя мы этого не понимали, настолько он был на месте. Он понимал — и нас от эмиграции отговаривал. Все же, в конце концов, он и сам эмигрировал еще раз, хотя куда, знал уже нетвердо; иногда ему казалось, что он в Бостоне, но как-то тоже и в Париже. (У Гоголя: «Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай».) Поэтому, когда он писал о теории перевода и интерференции, он владел материалом изнутри.

У него был акцент, которым окрашены многие из его запомнившихся фраз.

— Завтхха в шьесть! — Это он (всего лишь 48-летний, поверить трудно!) назначает мне встречу, чтобы взять меня, только что окончившего филфак МГУ с выговором в личном деле, на работу в Лабораторию.

— Йита, соедините меня с... этой... (имена и фамилии он забывал)... *с этой ду'ой!!!*». — Рита, ори-

ентируясь на интонацию, набирает нужный номер.

— Читал (с легким намеком на «цитал») статью К. Вот он как бы уговаривает даму, ласкает, готовит, подогревает, а в самый последний момент: Схъ! — и в сто'ону...». — Тыльной стороной ладони В. Ю. описывает дугу вбок. (Его «ср.», то есть, модное гуманитарное «сравни», транскрибирую, как могу.)

На шутки в свой адрес реагировал безупречно. В 1962 году мы со Щегловым, его молодые подчиненные, не спросив, вставили в программу организованного им заседания памяти Эйзенштейна его доклад, которому дали пародийно розенцвейговское название: «С. М. Эйзенштейн и теория перевода». Ознакомившись с этим капустническим документом, В. Ю. только понимающе улыбнулся (так что процитировать с акцентом нечего). Доклад сделал.

В общем, редкий пример отцовской фигуры, которую нет ни малейшей охоты деконструировать. Он сделал для нас и из нас, наверно, лучшее, что можно было сделать.

На галерах

Невеста была чуть ли не вдвое старше жениха — ей было за сорок, ему под тридцать. Она принадлежала к числу тех американок, которые говорят в точности так, как в commercials (причем непонятно, кто больше заслуживает премии за мастер-

ство имитации — актрисы рекламы или их жизненные подоби́я), и способны на пятом десятке надеть железки для выпрямления зубов. При всем при том она была неплохая тетка, здоровая, добрая, веселая. Разойдясь, после долгого сожительства, со своим лосанджелесским бойфрендом, она перебралась в Сан-Франциско, нашла там работу (по продаже чего-то художественно-сангигиенического), а затем и спутника жизни, на свадьбу с которым теперь приглашала приехать.

Свадьба устраивалась, как говорится, по всем правилам. Назначенной на 4-е июля — День Независимости, ей предстояло быть сыгранной в Сан-Францисском заливе, на специально зафрахтованном судне, под аккомпанемент праздничного фейерверка, в присутствии друзей, созданных из разных городов и штатов.

Институт брака давно не вызывает у меня энтузиазма, тяжело переносу я и parties. Но Катя не могла не поехать (это была ее подруга), и мы решили воспользоваться случаем прокатиться в Сан-Франциско. Мы приехали накануне, но едва не опоздали на посадку ввиду невозможности запарковаться где-либо по соседству с пристанью. Оставив машину в отдаленном гараже и торопливо продравшись сквозь веселящиеся толпы, мы с трудом отыскали нужный причал и, предъявив приглашительные карточки, окунулись, наконец, в долгожданную атмосферу эксклюзивности — были направлены к специальным сходням и поднялись на борт.

С одной стороны, все было как на любом праздновании — вручение подарка, представление незнакомым гостям, легкая выпивка, ожидание гвоздя программы и серьезной еды. С другой стороны, дело происходило на корабле, из чего вытекали особые обстоятельства — как смягчающие, например, верхняя палуба с ее вечерним бризом, перспективой фейерверка и видом на залив и город, так и отягчающие, например, полная и абсолютная невозможность удалиться, осознанная, впрочем, не сразу.

Задержке осознания способствовала сценическая неожиданность: самый брак оказался не оформленным заранее, то есть, в данном случае, на суше, так сказать, на твердой муниципальной/церковной почве, а подлежащим заключению в открытом море, на колеблемом волнами плавсредстве, перед взорами пораженной публики. Когда же все собрались на верхней палубе, невеста в белой фате, жених во всем черном, последовал сюрприз номер два: церемонию стал проводить не обычный чиновник или священник, а обряженный в парадную белую с золотом форму морской капеллан, заказанный вместе с судном, фуршетом, барменом и прочей обслугой у все той же фирмы по организации свадебных и иных пикников. В подтверждение своих полномочий он сослался ни больше, ни меньше, как на традиции британского колониального флота.

Сюрпризы не кончились и на этом. Вместо того, чтобы, как водится, торжественно признать

над собой власть священных уз брака (for richer or poorer... till death do us part и т. д., «в богатстве и в бедности... пока не разлучит нас смерть...»), пусть обеспеченных всего лишь курсом акций пароходной компании, сначала жених, а потом и невеста прочитали каждый свою собственную версию брачного обета — явные продукты creative writing. Не помню точно, в каких выражениях, но обе брачующиеся стороны объявили о своей полной готовности примириться практически с любыми неожиданностями в поведении друг друга и обоюдном согласии на расторжение брака по первому требованию и без каких-либо претензий, аннексий и контрибуций. Все это невеста продекларировала с тяжеловесными сентиментальными ужимками, так что ее контркультурные пассажи звучали до предела клишированно. Зато жених держался безупречно и свою партию провел с редким тактом. Как говорят американцы, he was a natural — был одарен от природы.

Вообще, присмотревшись к его полноватой фигуре, бархатным глазам, гладкому лицу и мягким артистичным манерам, я задался вопросом, не состоит ли он членом особенно многочисленной как раз в Сан-Франциско голубой прослойки — до поры до времени, может быть, тайно от себя самого. Ибо в таком случае разрешалась загадка столь театрализованной свадьбы, этой костюмированной theme party, участникам которой предложено было явиться в одежде брачующихся, шаферов, свидетелей, морского капеллана и гостей на

свадьбе. Все становилось на свои места. Невесте нужно было показать, что она еще не вышла из бракосочетательного возраста, жениху — что он не находится за пределами бракосочетательного пола.

Программа между тем продолжалась. Помимо еды, выпивки и фейерверка, она включала тщательно отрепетированный юмористический рассказ, силами ближайших друзей, об истории знакомства жениха и невесты, наглядно иллюстрировавший их взаимную суженость. Иногда на parties подобное ревью включает демонстрацию любительских фильмов, семейных и туристских фотографий, а также совершенно посторонних картинок, сопровождаемых шуточными комментариями, но на этот раз обошлось без видеоряда.

Я томился — деваться было в буквальном смысле некуда. Но вот, наконец, корабль завершил маневрирование по заливу и причалил к пирсу. Сразу уйти, конечно, нечего было и думать. Мы встали в длинную очередь на прощание с новобрачными. Она постепенно двигалась, и с каждым шагом я чувствовал приближение момента истины, неохотно просившейся наружу. Подошел мой черед. Невесту я поздравил, поблагодарил и поцеловал стандартным образом, жениху же сказал:

— У вас отлично получается. Вам надо делать это почаще. (You are very good at it. You should do this more often.)

«Нам надо делать это почаще» — американская формула вежливости при прощании с участника-

ми совместного мероприятия. Катя, которой я не преминул похвастаться сказанным, только покачала головой. Жених же, как будто, не обиделся. Приехав через год в Лос-Анджелес, они посетили нас, и мы полдня премило общались. Из дому тоже не очень убежишь.

На фоне Пушкина...

Окуджаву я люблю скоро полвека, дивясь, что проигрываемое на компьютере *Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается, / Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет* и сегодня вызывает слезы, хотя сотворение кумиров из Пушкина и Лермонтова противоречит не только моим просвещенным взглядам, но — невольно — и словам самой песни: *А все-таки жаль, что кумиры нам сняты попрежнему / И мы иногда все холопами числим себя.* Так или иначе, эзоповские полубещания не обманули: «что-нибудь» произошло. А неполная выдавленность кумира из холопа, возможно, даже способствует ощущению близости.

Окуджава долго шел в связке с Галичем и Высоцким. Про полузабытого ныне Галича приходилось слышать, что он — единственный настоящий поэт после Пушкина. «Володя» все еще звучит сам и слышен в большей части того, что поется другими, но на бумаге безнадежно проигрывает.

Первую критику Окуджавы слева я услышал от Лимонова — году в 70-м. Задним числом она не удивительна, но тогда поразила решительным отвер-

жением шестидесятичной поэзии как прекрасной и безжизненной. В результате, я впервые задумался об Окуджаве как предмете исследования, но ни его, ни Ахмадулину (ей тоже попало) не разлюбил. В науке, которую я представляю, полагается равномерно любить ссорящихся между собой подзащитных

Как-то я чуть не месяц пролежал в постели с тяжелыми мигренями. Мигрени были от советской власти (и раз навсегда прошли 24 августа 1979 года с пересечением государственной границы), от нее же — возможность числиться на работе, лежа без движения в темной комнате с примочками на глазах. Впрочем, я не совсем бездельничал. Читать я не мог, но мог слушать, и Таня ставила мне в соседней комнате Окуджаву. Я и так знал почти все наизусть и уже пытался объяснять своим друзьям-лингвистам, бодро печатавшим под Окуджаву походный шаг, в чем состоят его далеко не маршеобразные инварианты. А тут тексты стали прокручиваться во мне с машинной регулярностью, буквально напрашиваясь на структурный анализ.

Идея изучать Окуджаву теми же методами, что Пастернака, Мандельштама и Пушкина, вызвала недоумение у нескольких ученых коллег, — но не у М. Л. Гаспарова, которому я на них пожаловался и который в ответ продекламировал отточенную (полагаю, заранее) формулу: «Только занимаясь второстепенными поэтами, мы смеем надеяться, что не забудут и нас, третьестепенных филологов».

Напечатать статью об Окуджаве тогда нечего было и думать, но доложить устно не составляло проблемы, и я сделал о нем два доклада, из числа самых удачных в моей жизни.

Первый — на странной семиотической конференции в «Информэлектро» (1978), собравшей элитарную компанию участников (помню Ю. М. Лотмана, В. В. Иванова, Л. Н. Гумилева, Б. М. Гаспарова...) и толпы слушателей со всей Москвы. Доклад был сырой, извиняющийся («Я думаю выявить то-то; может быть, дело в том-то...»). Неприворотные пробелы сыграли магическую роль — каждому было что сказать, каждый мог почувствовать себя соавтором и все с легким сердцем кивали докладчику.

Окрыленный успехом и доделав работу, я вызвался выступить на семинаре в ВИНТИ у Ю. А. Шрейдера и В. А. Успенского, и загорелся идеей пригласить самого Окуджаву. Я не был с ним знаком, но по цепочке (через Юру Левина) получил его телефон и разрешение позвонить. Бард был бархатно ласков, обещал придти, просил только напомнить поближе к делу. Но когда я позвонил накануне, он ласково извинился, что быть не сможет — болен, и ласково же спросил, когда следующий раз. Я со свойственной мне мерзкой находчивостью ответил, что следующего раза не будет — это не концерт.

Следующего раза, действительно, не было, но на концерт получилось подозрительно похоже. Огромный зал, вмещающий человек 500, был за-

полнен энтузиастами, с полуконспиративным возбуждением воспринимавшими применение полуопальных методов к полузапретному материалу. А какую-то из песен, кажется, даже прокрутили на магнитофоне в порядке иллюстрации.

Личное знакомство произошло лет через семь в Лос-Анджелесе, в эмигрантском кругу. Окуджав дружил с Олей (Матич), и через нее я знал, что он ценит мои статьи о нем. (На первую из них, посланную из Итаки, он откликнулся любезным письмом, но с годовой задержкой; я гадал — не понравилась? — но он извинился незнанием моего отчества, а без него какие же комплименты?) В один из приездов они с женой гостили в роскошной квартире в Марина-дель-Рей, с видом на океан; помню, как на велосипеде отвозил им какое-то лекарство из Олиных несметных запасов.

От Оли же я узнал о его недовольстве моим интервью с примирительной характеристикой Лимонова («плохой идеолог, но хороший писатель»): «Нельзя же хвалить Лимонова...». Однако, когда мы очередной раз увиделись в Москве (на праздновании третьей годовщины независимости «Знамени»), кумир был опять чарующе ласков; о претензиях не обмолвился.

Следующего раза не было — и отныне не будет, а жаль.

P. S. Только что сообразил, какой поэтически безупречный лейбл — *Булат Окуджава*. Ямб имени (у-А) и хорей фамилии (а-у-А-а) сцепляются в симметричный амфибрахий: у-А-а-у-А-а.

Голубой кит

Тележка нашего университетского почтальона пестрит разнообразными стикерами. Среди них такой: *GO NUKE A GAY WHALE FOR JESUS**! Подрывом чуть ли не всех популярных клише — политически корректных и наоборот — дышит здесь каждое слово. Может, не все потеряно?

Народ книги

Я любил смотреть телевизор, Катя нет. Начитанная (как и приличествует «коэну» — потомку Аарона), она отказывалась смотреть даже образовательные программы.

Как-то вечером шла передача о легендарном *escape artist* начала века Гарри Гудини (Houdini).

— Катя, иди смотреть, тут документальная хроника, — кричу я сверху.

— Кончится, расскажешь.

— Катя, скорее, тут кое-что интересное выясняется!

— Ну, что там может выясниться? Что он еврей?...

— Как ты догадалась?

— А что еще может выясниться?! Все остальное и так известно.

* Букв.: «Пойди взорви ядерной бомбой гомосексуального кита во имя Христа!»

Оказалось, что Гудини — псевдоним Эриха Вайсса (Erich Weiss), еврейского эмигранта, с еврейской мамашей, позаимствовавшего свое звучное имя у знаменитого предшественника, Робер-Удена (Robert-Houdin), разоблачению магии которого он посвятил одну из своих книг. Он собрал уникальную библиотеку по магии и фокусничеству и завещал ее Библиотеке Конгресса.

В другой раз была передача о Нострадамусе.

— Катя, иди смотреть, очень интересно.

— Когда выяснится, что он еврей, скажешь.

— Уже...

Такое выясняется, как правило, близко к началу, потом герой и сам забывает о своем происхождении. Нострадамус был крещен и со своей ультракатолической фамилией (так сказать, «Богородицкий») был принят в медицинскую школу. Литературное его наследие известно — даже моей паримахерше.

Очередным объектом выяснения стал аббат (!) Лоренцо да Понте, либреттист «Фигаро» и «Дон Жуана». Имя он взял у монсиньора, крестившего его и братьев вместе с отцом, когда тот после смерти первой жены захотел жениться на католичке. Моцартовский эпизод был одним из многих в жизни да Понте. Последние три десятка лет он прожил в Америке, где торговал вином и книгами, основал итальянскую кафедру Колумбийского университета и Итальянскую оперу и написал книги по итальянской литературе и «Мемуары»...

На телефильм о кровожадных Борджиа я заманивал Катю как художницу — обилием картин и интерьеров, но она держалась твердо. По окончании я спустился к ужину.

— Я, помнится, где-то читала, что Борджиа были из испанских евреев...

— Ну, это ты зарываешься. Ничего такого не выяснилось. Проверим.

Я достал две увесистые еврейские энциклопедии — одну российскую, царских времен, другую сравнительно новую, американскую. Борджиа в них не было.

— Это, конечно, не доказательство, — сказал я. — Энциклопедии однотомные. Надо посмотреть в полную. Но если и там не будет...

— Там будет. Полная еврейская энциклопедия тем и отличается от однотомной, что в однотомной евреями оказываются некоторые, а в полной — все.

P. S. Семейству Борджиа не помогла и полная. Это бывает. Даже с выходцами из Испании. Вот и Лимонову пришлось написать о себе: «Такой интеллигентный нееврей».

Но, что характерно, сбой произошел по ветхозаветной формуле 3+1, обычно (например, в «Книге Даниила») применяемой для особо сильного взлета на четвертом витке. Ссылки на литературу опускаю.

Сексминимум

Уже пару лет я являюсь старейшим членом своего кооператива — как по возрасту, так и по длительности обитания. Американцы очень мобильны: средний срок владения недвижимостью семь лет. И это именно владение, инвестиция, а не проживание, *nothing personal*, в доме не столько живут, сколько поддерживают его обобщенно-товарный вид в ожидании скорой продажи. За десять лет на моих глазах, как по команде, сменились все жильцы, в некоторых квартирах дважды.

Чуть короче стаж у председателя кооператива (я — бухгалтер), Энн, одинокой, но бодрой, разумной, невредной. Узнав, что Катя художница, Энн заказала ей фреску для прихожей. В остальном ее квартира стерильно чиста (все белое), в ней никого не бывает, и сексуальная ориентация Энн остается загадкой. Ее внешность, как бы это сказать, схематична — природа, по слову классика, долго над ней не мудрила. В ее резком голосе без нюансов есть что-то мужеподобное, но, судя по всему, из волнующих античных приставок (*гетеро-, гомо-, би-, авто-, пан-...*) ей больше всего подходит *а-*.

Власть мы с ней захватили давно, в борьбе с интриганами первого состава. Энн купила свою квартиру у сослуживца, бывшего председателя кооператива, который, несмотря на начальственное положение и мужественную стилистику (име-

нем ему служили инициалы Джей Би, родившие с маркой виски), не вынес склок и продал, не торгуясь. Но для старого советского воробья, даже не самого стреляного, американские интриги, будь то на кафедре (я имею в виду свой корнелльский опыт) или в кондоминиуме, элементарны, Ватсон. Сключников я пересидел («он живо у меня квартиру поменяет»), положительную Энн, взяв на себя бухгалтерию, убедил занять президентский пост, и в доме, наконец, стало тихо.

У себя в фирме аудио и видеозаписи Энн — начальник среднего звена с десятком подчиненных, и звонить ей надо через секретаршу. Тут все, казалось бы, стабильно, как вдруг мы замечаем перемену — она совсем перестает бывать дома. Встает в 4 утра, бегает, уезжает в офис, но после работы ее тоже нет, а в 9 вечера она уже спит. Неужто, думаем, грянула сексуальная революция? Но тогда почему Энн доступна в воскресенье — самое романное время?

Оказывается, мобильность нашла себе другой типичный выход — career change («перемену профессии»). Энн надоела роль бюрократки, и она решила переквалифицироваться в консультанты по вопросам семьи и брака. Каждый вечер в будни и весь день в субботу она без отрыва от производства посещает соответствующие курсы, почему и занята под завязку.

Проходит несколько лет, и однажды вместе с кооперативными бумажками я получаю от нее небольшую рекламу — извещение об открытии ею

психотерапевтического кабинета (еще один адрес и телефон), пока что в качестве практиканта (intern), под наблюдением более мощно дипломированной специалистки, но тем не менее. Она даже дает мне несколько таких карточек, на случай распространения среди знакомых. Слово **psychotherapy** («психотерапия») выгравировано крупным жирным шрифтом, зато с дружественной маленькой буквы, а под ним, мельче, но без излишней скромности, намечен круг потенциальных клиентов: **individuals · couples · families · groups** («лица — пары — семьи — группы»)

Кто к ней пойдет, недоумеваем мы с Катей, когда ее квакающий голос на автоответчике напроць отсекает всякую мысль об интиме? Время от времени я справляюсь о ее успехах на новом поприще. Она отвечает, что не все сразу, предстоит постепенное завоевание репутации, но в общем она довольна, что последовала внутреннему позыву и нашла себя. Если дело пойдет, она продаст квартиру и купит дом.

— Как она может советовать, не имея личного опыта? — продолжает гнуть свою линию всесторонне развитая Катя.

В ее речи мне слышатся интонации, знакомые по дискуссиям на эстетические темы («В живописи понимают только художники»). Почувяв угрозу собственной спекулятивной профессии, я занимаю оборону на дальних подступах.

— Исследуют же литературоведы литературу, хотя сами не пишут...

Но Катя настроена мирно. Ей достаточно крови Энн.

— Ну, не пишут, но хоть читают!..

Диагноз

Среди приятелей на родине я слышу ультра-западником, но, конечно, знаю за собой неистребимые пережитки почвенничества. Я люблю останавливаться не в гостинице, а у знакомых, и вообще полагаться на личные связи — будь то в починке компьютера, ремонте квартиры или сборе материала для статьи. Со своей стороны, я исправно устраиваю приезжим соотечественникам лекции, встречаю их в аэропорту, поселяю у себя, кормлю, пою и развлекаю. В одних случаях мне это просто приятно, в других естественна дружеская услуга, в третьих долг платежом красен, но некоторые можно объяснить только действием незримых клановых уз. Их власть над собой я осознал давно, давно смирился, расслабился и стараюсь получать удовольствие. Бывают, однако, случаи из ряда вон.

Начать лучше всего, пожалуй, старыми словесы, по испытанным образцам повествовательной корректности: *В одном департаменте служил один чиновник...* Вообразим себе *одну коллегу*, сочетающую возвышенную риторику с потребительским нахрапом; без устали морализирующую по личным и общественным поводам; умело бьющую на ваше чувство вины, чтобы требовать новых приглаше-

ний, гонораров, транспортных и иных крупных и мелких услуг; выдающую себя не только научной и политической фигурой, но и интересной рассказчицей, очаровательной женщиной, желанной гостьей. Добавим, для пущего неведения, что свои проповеди и отповеди, полные ленинского сарказма, она интонирует на ерническом распеве, выдающем знакомство с Бахтиным, Зощенко и Булгаковым. А теперь представим, что она ваша старая знакомая и вы, хотя и знаете ее насквозь, пригласили ее на обед, а перед этим на прогулку по городу, в связи с чем она в амплу бедной родственницы вытребовала, примерила и подвергла придирчивой критике ряд предметов вашего гардероба; что за обедом она долго отчитывала вас за неправильное обращение с уважаемым коллегой, а парой дней раньше публично приравняла вашу демифологизацию Ахматовой к поведению советского хама, вынуждающего усталую от работы и беготни по магазинам жену саму покупать себе цветы на 8-е марта (для нее что Анна Ахматова, что Клара Цеткин, лишь бы шла в дело); что вы, будучи скованы законами гостеприимства, с виноватой улыбкой целый вечер сносили все это и вот, наконец, захлопнули за ней дверь.

— Нет, Катя, не пойму, как это я сам в энный раз приглашаю ее, чтобы потом терпеть ее беспардонность?! — восклицаю я. — Я ведь далеко не ангел. Что заставляет меня так попадаться?!

Катя, как всегда, наготове.

— Мазо-нарциссизм.

— Мазо-нарциссизм? Ну, мазохизм еще понятно. А нарциссизм-то мой здесь при чем?

— При том, что ты упиваешься не только собственными мучениями, но и собственным превосходством. Думаешь: как я там ни плох, есть хуже.

Sigmund, please, sorry! («Учись, Зигмунд!»).

Губернатор острова Борнео

Лет пять-шесть назад, когда Роман Тименчик один семестр преподавал в Лос-Анджелесе (в UCLA), мы как-то повезли их с Сузи погулять в горы. Стемнело, но дорогу разобрать было можно. Однако, когда, услышав какое-то уханье, Катя заявила, что высоко на эвкалипте она видит сову («вон она!»), ей никто не поверил, и я стал изгиляться на тему о художниках, которые «так видят». Но тут какая-то птица действительно перелетела с указанного эвкалипта на другой, подтвердив остроу Катиного зрения, Катя же, великодушно сменив тему, привела любимую фразу из Ильфа и Петрова: «Прилетели колотушка, бибрик и синайка».

Рома, вопреки своей репутации абсолютного знатока текстов, знакомства с цитатой не проявил. Не помню точно, но, кажется, он даже спросил, что это за птицы, и Катя сказала, из «Записных книжек». Рома осторожно усомнился, Катя стала настаивать, Рома умолк, я сказал, дома проверим, и дискуссия закончилась. После прогулки мы завезли Тименчиков, а на обратном пути я стал от-

читывать Катю за неуместность источниковедческих препирательств с самим Тименчиком:

— Если Тименчик говорит, что это не из «Записных книжек», значит это не из «Записных книжек».

— Но я же помню...

— Надо понимать, с кем имеешь дело. Тименчик подобен тому английскому джентльмену, на примере которого иллюстрируется понятие understatement. Когда среди его гостей возникает спор о том, что такое Занзибар, и кто-то говорит, что это такая птица, кто-то, что это рыба, и т. д., — он долго отмалчивается, пока, наконец, не позволяет себе осторожно предположить, что, кажется, Занзибар где-то в Африке, — и это при том, что в свое время он 20 лет прослужил губернатором Занзибара! Если Тименчик говорит, что не уверен, что цитата из «Записных книжек», значит, у него есть веские основания, типа того, что он только что написал работу о подтекстах этих «Книжек» или прочитал о них аспирантский курс, а возможно, и то, и другое.

Катя выслушала меня терпеливо, но дома погрузилась в «Записные книжки». Результат, как я и ожидал, получился отрицательный, что позволило мне еще раз любовно отполировать экс-губернаторский образ Тименчика. Но Катя не сдавалась и перешла к рассказам и фельетонам, в одном из которых («Как делается весна»), в конце концов, обнаружила-таки колотушку, бибрика и синайку.

Партия закончилась, таким образом, ко всеобщему удовольствию, о чем по телефону и было доложено Тименчику. Источник цитаты он мысленно запротоколировал, свой англоязычный портрет молчаливо оприходовал, в чтении спецкурса по проблемам художественного перевода с русского на иврит на материале «Записных книжек» сознался.

В тисках формы

Мы с Анатолием Найманом сверстники, познакомились в Ленинграде в начале 70-х, не виделись лет двадцать, летом юбилейного 89-го столкнулись во дворике ИМЛИ, и он подарил мне только что вышедшие «Рассказы о Анне Ахматовой» (с зияющим *о Анне* – чтобы, не дай Бог, не получилось *о бане*). Прочел я их лет через пять, по ходу своей ахматоборческой кампании, и нашел в них не просто ценное военное сырье, а готовый склад оружия, хотя и замаскированный под мирный объект.

С тех пор Найман напечатал уже откровенно скандальное «Б. Б. и другие», где со своим бывшим приятелем церемониться не стал (Б. Б. – не А. А.), так что писать о нем одно удовольствие: все заранее позволено. Тем более, что на мою ахматовскую статью он отозвался полублатным наездом под названием «Витек и Алик». *Noblesse, однако, oblige*. Санкций на жертвоприношение Толика я решил дожидаться непосредственно от Аполлона.

Божественный глагол застал меня погруженным в заботы суетного света на посткоммунистической конференции в Иерусалиме, собравшей, по манию Д. М. Сегала, цвет российской гуманитарии (весна 1998 г.). Заседания проходили при переполненном местной интеллигенцией зале. Выступающие говорили с массивной радиофицированной трибуны несколько сбоку, а в центре высился монументальный стол президиума, за которым располагались председатель и участники данной секции каждый со своим микрофоном; надо всем этим хэппенингом демиургически царил сам Дима Сегал с, так сказать, микрофоном номер один. Для реплик с места имелось еще несколько микрофонов на длинных шнурах, которые по знаку свыше специальные связисты тянули в гущу публики.

Мы с Найманом держались взаимно настороженно, но корректно. При первой же встрече я заверил его, что ожидаемого этического шока от «Б. Б.» не испытал, а вот некоторые конструктивные просчеты не мог не констатировать. Этот двойной удар он принял, не дрогнув, и вполне парламентарно заслушал мои соображения.

Вообще, после десятилетнего перерыва я с удовольствием отметил его неизменное изящество, по-прежнему складную фигуру и хорошо сохранившуюся красоту – все еще свежее лицо со все еще светящимися глазами в обрамлении все еще черных волос, – и задним числом снова отдал должное вкусу Анны Андревны. Он появлялся в элеган-

тном вельветовом пиджаке с аккуратными замшевыми заплатами на локтях, за столом демонстрировал отменные манеры, а сразу после ужина вежливо откланивался и исчезал до утра. Заинтригованный этой неукоснительностью, я понимающе приписал ее толково налаженным тайным свиданиям, но высказав свое предположение вслух, получил от застольцев успокоительное разъяснение, что после перенесенного сердечного приступа Найман строго соблюдает режим и диету — какие свидания, ничего лишнего, инфаркт залог здоровья.

Заседания между тем шли своим чередом, пришло время выступать и Найману. Выйдя на трибуну и извинившись, что начнет издали, он заговорил о том, каким знаменательным событием является настоящая конференция, как долго она готовилась, и как он помнит, как несколько лет назад, когда еще жив был сэр Исая, он, Найман, в Лондоне (или Оксфорде?) рассказал ему об этой идее, тот поддержал ее, и вот теперь, наконец... Но тут его в свой микрофон громовым голосом перебил Сегал:

— Этого ничего не надо. Переходите к докладу.

— Я только хотел...

— Не надо, Анатолий Генрихович. Переходите к докладу на заявленную тему. Ваше время уже идет.

После некоторого замешательства Найман, приняв позу неопределенного благородства, приступил к докладу, из которого не помню ничего, кро-

ме уже знакомого изысканно зияющего *о* — в словах *поэт, поэзия, поэтический*.

На другое утро мы с Найманом оказались самыми ранними пташками за завтраком, сели вместе, и он тут же заговорил о вчерашнем инциденте.

— Произошло недоразумение. Меня не так поняли.

— По-моему, Толя, вас поняли именно так — в смысле, что вы, вместе с покойными Исией Берлином и Анной Андревной, а вовсе не Дима Сегал, организовали эту конференцию.

— Ну, эти инсинуации, Алик, я оставляю на вашей совести, — произнес Найман с достоинством, и наша застольная *causegic* потекла дальше как ни в чем не бывало.

А вечером состоялось последнее заседание той секции, на которой выступал Найман, и заключительное слово было предоставлено председательствовавшей на ней Г. А. Белой. Большинство участников располагались в первом ряду, под трибунами; мы с Найманом сидели рядом на крайнем левом фланге. Раздавая оценки докладам, Белая особенно критически отозвалась о наймановском (не исключаю, что из-за «Б. Б.»). Найман зашептал:

— Ну, я ей сейчас дам...

— Сомневаюсь.

— Не сомневайтесь, я уже знаю, как я ей врежу... — Он застрочил на листке бумаги.

— Не-а, не врежете.

— Почему это? — он начинал кипятиться.

— По причине, которая вам как мастеру художественной формы должна быть понятна...

— Это по какой же?

— По той, что особенностью формы является ее завершенность, замкнутость. — Двумя указательными пальцами я обрисовал в воздухе круг, почти замкнув его, но оставив внизу некоторый зазор.

— Ну, и что?

— А то, что, речь, которую мы сейчас слушаем, является в жанровом отношении заключительной, — я, наконец, позволил пальцам соприкоснуться, — и по закону композиции не предполагает никаких дальнейших высказываний. — Я еще раз описал пальцами круг перед носом Наймана и победительно замкнул его. — Вам просто не дадут слова.

— Пусть попробуют, — сказал Найман и всем телом изготовился к прыжку.

Белая, наконец, кончила и стала сходиться с трибуны. В ту же секунду Найман устремился вперед, требуя слова, и протянул руку к микрофону. Навстречу ему из-за главного стола поднялся Сегал со своим микрофоном в руках. Найман защитно выставил вперед свободную руку, но Сегал продолжал на него надвигаться. Зрелище их повторной стычки вызвало шум и оживление в публике, когда раздался усиленный громкоговорителями, все перекрывающий, подчеркнуто членораздельный голос Сегала:

— Анатолий — Генрихович — я — вам — да-Ю — микрофон!

Раздался общий хохот, в котором потонул наймановский отпор Белой, так что я мог поздравить себя с полным успехом постановки, оставшейся, впрочем, анонимной.

Гордиться ли этим, не знаю. С одной стороны, вроде бы правильно — режиссер умирает в актере, но с другой, получается какое-то трусливое закулисное подзуживание. Тем более, что в свое время подобное обвинение мне уже предъявлялось.

На офицерской стажировке в военном лагере зимой 1959 года филологи подыхали от безделья. Валялись на нарах, слонялись по казарме, пили, пели, доходило до драк. Аркадьев и Баумов схватились с применением технических средств — солдатских ремней; на бритых головах пряжки оставляли красные следы. Я бросился разнимать, и общими филологическими усилиями побоище было прекращено. В дальнейшем по ряду причин именно мне комсомольское бюро факультета вынесло выговор с занесением в личное дело (об этой истории я уже писал). А на комиссии по распределению на работу ее председатель, печально известный декан факультета Р. М. Самарин, спросил с нарочитым безразличием к фактам:

— Жолковский, что у вас там вышло с Баумовым?

— У меня ничего, Роман Михайлович.

— Зачем вы на него полезли?

— Я не лез, Роман Михайлович.

— Ну, не лезли, так подзуживали.

— Я не подзуживал, Роман Михайлович, я разнимал.

— Подзуживал, разнимал... какая разница?! Не подзуживайте, Жолковский, — закончил он на отечески поучающей ноте и выдал мне направление в Пензу (от которой меня спасла лишь причастность к как раз забрезжившему машинному переводу).

Действительно, какая разница? В обоих случаях человек действует со стороны, в миротворческой ли, провокаторской ли, но не героической роли, претендуя, однако, на некое превосходство, в одном варианте явное моральное, в другом — тайное эстетическое. Устыженный этими соображениями, я в дальнейшем старался по возможности «лезть» и брать ответственность на себя; я даже стал перебарщивать в этом направлении, а потом для корректировки табанить в обратном. На Ахматову вот полез с открытым забралом, а с Найманом спрятался за его же спину.

...Вспоминается старинный советский анекдот об иностранном корреспонденте, ранним утром наблюдающем очередь в булочную и драку сумками.

— Что, перебой с продуктами? Дерутся из-за хлеба? — спрашивает он у сопровождающего.

— Да нет, хлеба навалом, а это... гурманы, стоят за какой-то особой выпечкой.

Сомнительное блядство

Перечитывая эти записи, я замечаю, что мои воспоминания о знакомствах с великими людьми но-

сят минималистский характер, сохраняясь в масштабе ровно одной виньетки. Иногда выветривается даже ощущение личного контакта — в памяти остаются лишь цитабельные словечки.

Эйзенштейна, долгие годы моего кумира, я точно никогда не видел (когда он умер, мне не было одиннадцати). А вот с одной из его «жен», Перой Аташевой, я как будто встречался. «Как будто» — потому, что за подлинность своего впечатления я поручиться не могу. Но тогда откуда эта неповторимая пуанта рассказа о ее хождении по инстанциям после смерти мэтра? Она хлопчет о вступлении в права наследства (на квартиру, сберкнижку, библиотеку, рукописи), ее посылают из кабинета в кабинет, и в одном из них некий начальник от кинематографии говорит ей, видимо, в 48-м, а она со вкусом пересказывает в 62-м, то есть, всего 14-ю годами позже:

— Много тут вас, блядей, ходит...

Общаться с Аташевой я мог в музее-квартире Эйзенштейна на Смоленской (где сам он никогда не жил), когда с легкой руки В. В. Иванова познакомился с кружком собиравшихся там «эйзенштейнчат» — будущих классиков эйзенштейноведения: Наумом Клейманом, Леней Козловым и другими. Даты сходятся — Аташева умерла лишь в 1965-м. Ее облик отчетливо стоит перед моим мысленным взором. Маленькая, непропорционально большой головой и огромными, странно косившими глазами навывкате, она была похожа на тех ацтекских женщин, которых любил снимать Эйзенштейн.

Впрочем, такова она и на известных фотографиях.

Что касается недоверия чиновника, то оно не вовсе лишено оснований. Формально Эйзенштейн и Аташева были женаты, но официальной его женой считалась Телешева (ум. 1943), не говоря уже о сомнительности супружеских отношений в обоих этих «браках», да и каких-либо половых связей Эйзенштейна с женщинами вообще.

Так что мои колебания законно вписываются в общий контекст двусмысленностей эйзенштейновской биографии. Если что и удостоверяет для меня аутентичность собственного свидетельства, так это сугубо теоретическое соображение, что при передаче из третьих уст слова о множественности блядей прозвучали бы не столь убедительно. Увы, здесь они передаются именно так.

Автографы

В двух следующих виньетках силен элемент авторского тщеславия, моральное неблагополучие которого будет отчасти компенсировано выгодами анализа.

1. Поединок

К концу 80-х годов я почувствовал себя достаточно аккультурировавшимся в Америке. Я получил постоянную работу, сменил один университет (и штат) на другой, зажил с американкой (правда, русского происхождения), издал пару книг по-анг-

лийски, и мог позволить себе роскошь ностальгирования с позиций силы. Одним из проявлений этого стал выпуск сборника научных работ на русском языке, другим — уступка давнему позыву к сочинительству, тоже по-русски.

Я стал писать рассказы и показывать их знакомым, ища внимания, похвал, советов и путей в печать. Большинство реагировало с той или иной мерой благожелательности, кроме П. которая отказалась читать мои опусы, опасаясь возможных неловкостей.

— Лучше я останусь потребителем вашей профессиональной продукции, — сказала она.

Как профессионал я ее понял, но как начинающий автор затаил, выражаясь по-зощенковски, в душе некоторую грубость.

Постепенно мои рассказы стали появляться в эмигрантских газетах и журналах, а с падением железного занавеса вышли отдельной книжкой в Москве (1991). Мое авторское самолюбие было удовлетворено, а его ностальгическая компонента — даже с превышением, благодаря внезапно отворившемуся российскому сезаму. Доставленные из России экземпляры я направо и налево дарил знакомым.

П. в этот список, естественно, не вошла, но наша личная и профессиональная дружба, включавшая постоянный обмен научными публикациями, продолжалась. При очередной поездке в Северную Калифорнию, где она тогда работала, мы повидались, и за ланчем в живописном горном

ресторанчике с видом на океан наступил, наконец, момент моего торжества.

— Алик, я слышала, у вас вышла книжка рассказов.

— Да, вышла.

— Можно посмотреть? Надеюсь, вы привезли экземпляр?

— Да нет. Я как-то примирился с тем, что мои рассказы вас не интересуют.

— Ну, теперь, когда они вышли в престижном издательстве...

— Оно совсем не престижное, практически самиздат.

— Все равно, теперь это уже литературный факт, достояние общности. — П. заговорила на близком ее сердцу, но ненавистном непризнанным гениям языке культурной социологии, и меня внезапно осенило.

— Да-да, и потому за приобретением книги вы можете обратиться в институт книготорговли.

— А что, она есть в магазинах?

— Конечно.

Это был полнейший блеф, но я уже придумал, как действовать.

— Тогда я куплю ее у «Шведе», а вы мне надпишите. Уж от этого-то вы не откажетесь?

Учитывая невыгодность ее позиции, следовало отдать П. должное: она держалась на высоте. Мы попрощались, П. сказала, что поедет прямоком в «Шведе», а мне предстоял многочасовой автопробег в Лос-Анджелес. Из первого же те-

лефона-автомата я позвонил в «Шведе», всем нам знакомому товароведу Верочке, и мы договорились, что если П. спросит мою книжку, она ответит, что да, была, вся разошлась, но на нее можно записаться в очередь; я же на-днях подешлю экземпляр, который Верочка и продаст П. подороже.

Через какое-то время мне позвонила П. Разговор шел о том о сем, но вскоре я заметил, что она, как ни в чем не бывало, вкрапляет в него фразы из моих рассказов.

— Ага, Вы, значит, достали книжку?

— Да, честно купила за \$10.

— Дорого дерут, черти.

— Так я дочитаю и пришлю вам на подпись?

— Сделайте одолжение.

Вскоре книжка пришла, я стал придумывать дарственную надпись поехиднее, и меня осенило вторично. От руки я вывел: *Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать*, под этим наклеил ксерокопию пушкинской подписи, еще ниже написал: *Подпись руки камер-юнкера А. С. Пушкина удостоверяю, профессор А. К. Жолковский*, поверх чего приложил фиолетовую кафедральную печать: Department of Slavic Languages and Literatures, University of Southern California. В общем, создал музейный экземпляр, каковой и отослал.

Таков был исход — я считаю, ничейный — этого поединка ранимой авторской личности с представителем литературных институтов.

2. Телефончик

Во второй истории, происшедшей почти десять лет спустя, я оказываюсь по другую сторону институциональной баррикады. Но личное начало действует и здесь.

На двухсотлетних пушкинских торжествах в Питере я очутился в гуще съехавшихся со всей России поэтов, многие из которых подарили мне свои книжки. Я не отказывался, но вскоре их набралось так много, что я на глазок разделил их на две неравные группы: большую часть забыл в питерской гостинице, а меньшую взял с собой в Москву. Через месяц, перед отъездом из Москвы, я повторил эту операцию: несколько книжек послал себе почтой в Калифорнию, а прочие оставил в московской квартире. Но на этот раз я по крайней мере открыл и просмотрел каждую книжку. В одной из них меня ждал сюрприз.

Дарственная надпись на сборнике известной поэтессы кончалась номером телефона. Как и все посвящение, он был выписан твердым размашистым почерком. Я сразу представил себе красивое, внятное, немного слишком накрашенное лицо поэтессы, ее полные губы и эффектную фигуру, подчеркнутую коротким облегающим платьем, и пожалел, что в свое время даже не взглянул на титульный лист. Впрочем, поэтесса предусмотрела и такую возможность: телефон начинался с трехзначного кода города.

Жанр дарственной надписи хорошо знаком мне по собственному опыту. В молодые годы, когда

авторство было для меня внове, я пользовался каждым таким случаем, чтобы поизощриться в остроумии и самовыражении; потом я постепенно набил руку, остыл, и былой энтузиазм сменило усталое владение жанром. Некоторые оригинальные посвящения, чужие и свои, я помню всегда.

Так, однажды, лет тридцать назад, я осмелился попросить у почитаемого старшего коллеги оттиск его статьи, и при очередной встрече он мне его вручил. Надпись гласила: *Александрю Константиновичу Жолковскому – с неожиданностью*. (Оттиск при мне и сейчас — его ксерокопии хорошо известны моим аспирантам.)

Один коллега, вообще-то очень ядовитый, написал на своем оттиске тем более драгоценный комплимент по поводу моей недавней статьи о Лермонтове: *А. К. Жолковскому – победителю «Тамани»*.

Надписывая несколько лет назад свою статью о снижении личности Ахматовой в двух постмодернистских рассказах (Татьяны Толстой и Виктора Ерофеева) и их интертекстуальном фоне, я набрел на формулу, которую немедленно тиражировал: *Опыты соединения имен посредством вагин* (слова были расположены так же, как на вагиновском сборнике 1931 года).

Парадигма авторской надписи, как отчасти видно уже из этих примеров, включает несколько постоянных рубрик. Преподносится что; кому; кем; где; когда; с какими комплиментами; при каких обстоятельствах; почему/зачем... Каждая из руб-

рик может детализироваться: *что* развертывается в серьезное или шуточное резюме даримого сочинения; *почему/зачем* конкретизируется в *на память о чем, с какими чувствами, в надежде на что*. Рубрики охотно комбинируются: *победителю* «Тамани» — это «кому», «обстоятельство», и «комплимент»; *с неожиданностью* — «обстоятельство» под видом «чувства» и явно без «комплимента»...

Попробуем применить эту память жанра к надписи поэтессы. В формате посвящения нет графы «координаты». Она привнесена из радикально иной парадигмы — случайного знакомства на концерте, фуршете, танцплощадке. Скрещение смелое и в то же время оправданное: вставленный в посвящение, «телефончик» прочитывается как отвечающий сразу на большинство рубрик: *предносится что, кем, с какими чувствами, в надежде на что...* Остается и проклятая неопределенность, приглашающая к размышлению: комплимент ли это внешности адресата, его профессиональному статусу или географии проживания? Oh, ces femmes! — сказал Вольтер.

Уроки английского

Есть фразы, которые запоминаются не благодаря тому, семантически *что* в них сказано, а тому, грамматически *как*. Они свидетельствуют, что и прозе не чужда поэзия грамматики. Как правило, они непереводимы, ведь поэзия это то, что пропадает в переводе.

Давным-давно, еще в России, я прочел о Генри Джеймсе примерно следующее:

Henry James is always quite clear but only so after one has gone to considerable trouble trying to figure out what it is he is being clear about. То есть: «Генри Джеймс всегда пишет ясно, но эта ясность наступает только после того, как затратишь значительные усилия, чтобы понять, о чем именно он так ясно пишет».

Перевод приблизительный — тонкости пропадают. С некоторыми из потерь можно примириться. Так, в оригинале Джеймс не «пишет ясно», а просто «ясен», но если так и перевести, то возникнут трудности с *only so* («таков только») и *clear about* («ясен о»). Кроме того, «пишет» хотя бы отчасти компенсирует непереводимое *is being clear* («является ясным [в настоящем продолженном времени]»).

Но утрачивается и главный грамматический фокус — оттянутое до самого конца явление предлога *about*, «о». В буквальном переводе конец фразы звучал бы так: «... что это такое, которым он является ясным о». Вынос предлога в конец — одна из формальных причуд английского синтаксиса, но здесь она поставлена на службу смыслу: трудности уяснения синтаксиса фразы аккомпанируют трудностям уяснения джеймсовского письма, и развязка — в обоих планах — наступает лишь по предъявлении последнего слова. Затягиванию

процесса способствует также грамматическая форма *is being clear*, «продолженная» во всех отношениях — и по смыслу, и по числу слов.

Интересная русская параллель — концовка одного приговского стихотворения.

*Шостакович наш Максим
Убежал в страну Германию
Господи, ну что за мания
Убегать не к нам, а к ним
Да к тому же и в Германию
И подумать если правильно
То симфония отца
Ленинградская направлена
Против сына-подлеца
Теперь
Выходит
Что*

Переключка здесь не только по формальной линии — ретроспективности последних слов («теперь выходит что»; «котором... ясен о»), но и по содержательной: Седьмая симфония Шостаковича окончательно осмысливается лишь задним числом. Разумеется, Пригов доводит оба эффекта до гротеска, но это те же эффекты.

Под рукой мастера игра с отделяемыми предлогами может развернуться и на совсем ограниченном пространстве. В одном романе Кингсли Эмиса новая жена дирижера спрашивает предыдущую, как ей удалось так долго прожить с ним. Та отвечает:

— I was very good at being talked to about music, «Я очень хорошо умела слушать, когда он говорил о музыке» (букв. «Я была очень хороша в том [способна к тому], чтобы быть говоримой с о музыке»).

В гладком литературном переводе пропадает целая драма предлогов, лиц, залогов и времен, вторящая описываемому сюжету; некоторое представление о ней дает буквальный подстрочник. Недлинное — всего в десять слов — английское предложение содержит три предложных конструкции (в переводе остается только одна: «о музыке»). Второй предлог (*to*, «о»), ввиду пассивности конструкции, как бы повисает в воздухе — подразумеваемым дополнением к нему является *I* («я»), расположенное в самом начале предложения. Вдобавок к этой ретроспективной петле образуется стык двух предлогов: ... *to about*... («... с о ...»).

Ни подобного пассива, ни подобного «повисания» предлогов, ни подобных стыков («быть говоримой с о») не бывает в русском. Отсюда появление в переводе глагола «слушать», отсутствующего в английском тексте и грубо смазывающего его словесную вязь. По-русски получается, что героиня действительно слушала мужа, тогда как в оригинале дается понять, что она лишь умело делала вид. Получается это из-за замены подчеркнуто пассивного состояния *being talked to* («пребывания в роли адресата говорения») активным действием «слушания». Заодно пропадает парадоксальное столкновение активного, чуть ли не профессио-

нального «умения» с бездейственным, хотя и длительным (грамматически продолженным), состоянием «пребывания адресатом». Наконец, употребление глагольной формы («слушать») лишает описываемое состояние («адресатность») той «безлично-объективной» ауры, которую ему в оригинале придает использование именной конструкции (*being...*).

Вся эта языковая минидрама имеет, как того требовал Аристотель, начало, середину и конец. Предложение начинается с конкретного субъекта (*I*, «я»), простой глагольной формы (*was*, «была») и простого, хотя и предложного, выражения (*good at*, «способна к»). Далее предлог слегка зависает, когда оказывается, что ему предстоит управлять не простым существительным, а целой конструкцией — составной, пассивной, безличной (в ней не названа ни одна из сторон — ни жена, ни муж). Образована эта конструкция с помощью все того же простого глагола (*to be*, «быть»), но на этот раз взятого в более абстрактной форме (*being*). Достигнув далее кульминации на стыке двух предлогов («с о»), грамматическое напряжение спадает: фраза заканчивается нормальной — совершенно «ясной» — предложной группой *about music* («о музыке»), называющей вполне реальный предмет отвлеченных разговоров и изысканных конструкций.

Отделяемые предлоги — одна из болевых точек английской грамматики. Учебники хорошего стиля советуют избегать повисающих (*dangling*) предлогов. На эту тему существуют анекдоты.

Таксист спрашивает прохожего:

— Can you tell me, sir, where Harvard Yard is at? («Не скажете ли, сэр, где здесь Гарвард Ярд?»; предлог *at*, «в», зависает, да и самим своим употреблением выдает неграмотность говорящего, — как если бы вместо «где здесь» было сказано «ихде здесь»). — At Harvard we do not end a sentence with a preposition («В Гарварде мы не кончаем предложений предлогами»).

— O. K., can you tell me where Harvard Yard is at, asshole? («О-кэй, не скажешь ли, где здесь Гарвард Ярд, мудила?»; вместо того, чтобы убрать дурацкий предлог, таксист заключает вопрос прямым оскорблением).

Избавиться от повисания предлогов не так-то просто. Хрестоматийной стала издевка одного знаменитого стилиста над неуклюжими попытками в этом направлении:

This is the kind of syntax up with which I will not put, *букв.* «Это такой синтаксис, со- с которым я не могу -гласиться», то есть: «... с которым я не соглашусь».

Здесь Черчилль (а это он) приближается к Пригову. Вообще, с отделяемыми предлогами чаще всего, как ни кинь, все клин. В умелом хождении по грани дозволенного — кольриджевском «примирении крайностей» — и состоит изысканность рассмотренных примеров.

... Как-то в гостях у лосанджелесского знакомого я пустился в рассуждения о недостижимости полного владения английскими артиклями и предложениями. Случившийся рядом Элья Баскин, сделавший голливудскую карьеру актер из нашей волны эмиграции, пожал плечами:

— Не замечал. Wanna fuck? — где тут это?!

О главном

Один известный американский славист рассказывал, как в Оксфорде к нему на улице подошел новоприбывший студент-японец и спросил, где здесь Оксфордский Университет. Сделав широкий жест рукой, американец сказал, что все вокруг и есть Оксфордский Университет. Японец уточнил:

— Я имею в виду, где главное здание?

Американец долго не мог объяснить ему, что применительно к Оксфорду вопрос не имеет смысла. Университет состоит из множества независимых колледжей, разбросанных по городу, и ни из какого административного центра не управляется.

Аналогичным образом я, приехав в Лос-Анджелес, долго не мог смириться с тем, что нет никакого киноуправления, а только отдельные кинотеатры, и что нельзя позвонить в аэропорт, то есть, в его дирекцию или даже справочную, а можно только в ту или иную частную авиакомпанию.

Двое коллег, муж и жена, поселившиеся на Западном берегу еще в начале 80-х, рассказывали, что когда в горбачевский период один видный советский

филолог-диссидент (назову его условной фамилией Иванов) начал наезжать в Калифорнию, он прежде всего попросил указать ему главных славистов. Они стали неуверенно называть разные имена, из чего тот сделал вывод, что они сами не в курсе дела — не подключены к властным структурам. Их попытки объяснить, что американская славистика не подчиняется никакому президиуму, не имели успеха.

С тех пор «Иванов» окончательно перебрался в Калифорнию, неплохо устроился, но обречен чахнуть без рычагов власти — не потому, что ему отказывают в доступе к ним, а потому что их нет как таковых. Жалуется он и на малочисленность слушателей — в Москве (и Гаване) на него сбегались толпы, а в Лос-Анджелесе у него в лучшем случае десяток студентов. Еще бы: там он представлял собой (анти)начальство, а здесь он всего лишь один из многих специалистов в определенной, достаточно периферийной области.

Когда я начал свои ахматоборческие штудии, один коллега посоветовал показать их общему знакомому, ахматоведу номер один. При случае я показал, но от меня не ускользнула ирония ситуации: анализ культа личности Ахматовой — «института ААА» — подается на просмотр в высшую инстанцию этого самого института.

Речь о культе личности заходит здесь не случайно. Один мой давний друг, несмотря на редкое душевное благородство и страстное диссидентство, являл любопытный образчик пропитанности тоталитарной идеологией. Примеров тому мно-

го; в данной связи вспоминается его склонность объявлять своих знакомых главными экспертами по соответствующим вопросам. Такой-то (близкий друг) — знает все про физику, такая-то (жена шефа) — главный врач и всех вылечит, такой-то (муж сестры) — великий мастер на все руки и починит любой прибор, такой-то (я) — единственный разумный литературовед и т. д.

Здесь узнаются черты командного стиля. Наверху — Сталин, великий гений всех времен и народов; под ним, образуя идеальное дерево подчинения, — начальники следующих рангов: Берия (безопасность), Ворошилов (армия); Жданов (культура); этажом ниже (в культуре): Лысенко (биология), Горький (литература), Станиславский (театр)... Как говорится в анекдоте: «Лаурэнтый, кто там у тэбя на связи сыдыт?»

Эта система примитивной регламентации жизни воспроизводилась и на уровне рядовых советских людей. У каждого по возможности имелся один свой человек по продуктовым заказам, другой — по шмоткам, третий — по медицине, четвертый — по путевкам, пятый — по книгам...

Теперь же продуктов завались, книг читай — не хочу, а вот единоначалия острый дефицит: некем командовать, некому рапортовать. Нет главного.

Верхнее си

Преподавая русскую литературу калифорнийским первокурсникам, я развлекаю себя и их, как могу.

За один академический час надо рассказать о жизни, творчестве и взглядах Толстого и разобрать «После бала», причем сделать это в форме сократического обсуждения со студентами кое-как подготовленного ими задания. Этот цирковой номер требует искусства, которое я все время шлифую. Основной прием — использование миниатюрных примеров, нагружаемых обобщениями и перемежаемых хохмами. Хохмы не дают студентам заскучать, а мне — утратить ощущение непокорства университетским порядкам, политкорректности и моей, в сущности, бэбиситтерской роли.

— Danny, don't sleep — just think what you are doing to my ego! («Дэнни, не спите — подумайте, какой ущерб вы наносите моему “я”!»)

В этой любовно выношенной формуле дисциплинарное замечание студенту совмещено с провокационным нарушением его privacy и отставанием прав моей личности на языке модного psychobabble («психотрепа»).

Заголовок «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» я долго разжевываю как образец парадоксальных классовых симпатий графа Толстого, его руссоистского контркультурализма и, наконец, его эстетики, нарочито игнорирующей правила хорошего стиля. И перехожу к мощным обобщениям.

— Толстой обнажал условность любых общественных институтов: церковных обрядов, военной науки, светского этикета, классической оперы, шекспировской драмы, литературной критики

и формального образования. — Тут меня осеняет. — Он, конечно, был бы против преподавания данного курса и разбора его рассказа, то есть, разращения — во имя культуры — невинных детей, в голове у которых *tabula rasa*.

Я рассчитываю побалансировать на грани шока, но постмодерную публику не удивишь — политкорректность тихо скончалась, засмеянная досмерти. Студенты радостно хихикают, включая тех, кому требуется дополнительное культурное впрыскивание в виде перевода неведомой *tabula rasa*.

Более рискованную хохму я отпустил лет десять назад на одной из ежегодных славистических конференций, если не ошибаюсь, на Гавайях. Там выступал молодой славист-негр, явление в нашей профессии крайне редкое*.

Секция была пушкинская, и речь в докладе шла о послании «Юрьеву» («Любимец ветренных Ла-

* Кажется, их всего два. Когда в 1980-м году меня брали на работу в Корнелл и делали это вне обычной конкурсной процедуры (в качестве так наз. *target of opportunity*, не знаю, как перевести, — «удачно подвернувшегося варианта?»), завкафедрой Джордж Гибиан должен был писать специальную бумагу с объяснением, что претендентов африканского происхождения на мою должность нет, так как единственный в американской славистике потенциальный кандидат такого рода благополучно трудоустроен и интереса к ее замещению не проявляет. Как-то, не помню как, разрешалась в бумаге и гендерная проблема.

ис...»; 1821). Из уст выступавшего анализ строк *А я, повеса вечно-праздный, / Потомок негров безобразный, / Возвращенный в дикой простоте / ... / Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний...* звучал, а главное, смотрелся эффектно, разбор же был так себе. Зал с напряжением ждал комментариев дискутантки — Стефани Сэндлер, большой умницы, хотя и феминистки.

Ожидание оказалось не напрасным. От дежурных комплиментов докладчику Стефани перешла к упущенному им аллюзивному обыгрыванию гомосексуализма адресата (*Пускай, желаний пылких чуждый, / Ты поцелуями подруг / Не наслаждаешься, что нужды?...*). Этот аспект стихотворения был новостью не только для докладчика, но и для меня. Я потерял контроль над собой, и у меня вполголоса вырвалось:

— The poem proved even racier than he thought!.. («Стихотворение оказалось еще пикантнее/расовее, чем он думал!»).

Прилагательное *racy*, «энергичный, пряный, скабресный», отдаленно восходит к *race* в смысле «раса» (а не «соревнование, гонка») и применяется к описанию запаха, вкуса и стиля, в том числе литературного. Мой драматический шопот был услышан в зале, но к счастью, не на сцене, и вызвал легкое оживление. Это была, наверно, самая высокая политически некорректная нота, когда-либо взятая мной в Америке публично.

Что же касается милого феминистскому сердцу гомосексуализма, то мне Стефани вскоре на-

несла по этой линии еще более ощутимый удар, чем темнокожему пушкинисту. К моему и без того пикантному анализу архетипической подоплеки «После бала» (тело избиваемого шпицрутенами солдата как коррелят недоступного тела Вареньки) она в одной своей статье добавила гомосексуальное прочтение любви героя к полковнику.

Мог бы, кажется, и сам догадаться, но подвела дикая простота желаний; сказались и годы проклятой сталинщины. В общем, верхнего си не вытянул.

Кому же у кого учиться писать

Толстой уверял, что «нам» — у крестьянских детей, но «дети» упорно учатся у Толстого. Разгадка того, «почему так здорово», часто ведет к «Войне и миру».

1. «Собачье сердце»

Меня всегда интриговало это место — в нем мерещилось что-то знакомое:

«... — Тогда, профессор..., — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, и тяпнет он их

сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще, каким способом, но так тяпнет.. Бей их!... Р-р-р...» Филипп Филиппович... снял трубку с телефона и сказал так:

— Пожалуйста... Петра Александровича... Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует... Будьте любезны, — змеиным голосом обратился [он] к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить...

— Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес...

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот».

Сцена памятная, любимая, «типичный Булгаков». Но — на толстовской подкладке.

«Малаша... иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В середине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополному, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсе-

на, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена... — Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны... Так, например.. (Кутузов как бы задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит [т. е. проигранное Бенигсеном], было.. не вполне удачно только оттого, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля.. — Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание».

Булгаков дожимает «примитивную» точку зрения, спуская ее от крестьянской девочки Малаши еще ниже, к Шарику (с оглядкой, конечно, на Холстомера и левинскую Ласку), и меняет ее направленность: Шарик вовлеченнее и агрессивнее Малаши, а восторг по поводу апелляции профессора к начальству — установка чисто булгаковская и никак не толстовская.

2. «Остров Крым»

Поворотным моментом в альтернативной истории гражданской войны в романе становится импровизированный артиллерийский удар по льду, которым лейтенант Бейли-Лэнд останавливает взятие красными Перекопа.

«Марлен Михайлович... вспоминал День лейтенанта Бейли-Лэнда, 20 января 1920 года, один из самых засекреченных для советского народа исторических дней... когда против... лавины революционных масс встал один-единственный мальчишка, англичанин, прыщавый и дурашливый. Встал и победил... Марлен Михайлович был допущен к секретным архивам... Качнулись устои веры... «роль личности в истории» вдруг повернулась... неприглядным, не-марксистским боком... В полном соответствии с логикой классовой борьбы впервые за столетие замерз Чонгарский пролив, и... по сверкающему льду спокойно двигались к острову армии Фрунзе и Миронова... Не соответствовало логике классовой борьбы лишь настроение двадцатидвухлетнего лейтенанта Ричарда Бейли-Лэнда...: он был слегка с похмелья... Вооружившись карабином, офицерик заставил своих пушкарей отстать в башне... развернул башню в сторону наступающих колонн и открыл по ним залповый огонь... Прицельность стрельбы не играла роли: снаряды ломали лед, передовые колонны тонули в ледяной воде, задние смешались, началась паника... Героя битвы.. нашли в офицерском клубе... Марлена Михайловича... возмущало, что Дик Бейли-Лэнд в последовавших за победой интервью настойчиво отклонял всяческие восхваления... собственный

героизм... « — У меня и в мыслях не было защищать... русскую империю, конституцию, демократию... Мне просто была любопытна сама ситуация — лед, наступление, главный калибр, бунт на корабле, очень было все забавно...»
«Как? — возмущался Марлен Михайлович... Из чистого любопытства гнусный аристократишка отвернул исторический процесс...»»

Этот ключевой для всей конструкции романа эпизод (сюжетной рифмой к нему служит несовершенство аналогичного поступка при финальном советском вторжении на Остров) сразу восхитил меня. Его опора на Ледовое побоище и разгром Кронштадского мятежа Тухачевским бросалась в глаза, но классический литературный источник долго оставался засекреченным. Дело в том, что полемическая игра Аксенова с историческим материализмом вольно или невольно маскирует реминисценцию из главного исторического романа всех времен и народов, и за подчеркнута англизированным героем не сразу угадывается русский до глубины души персонаж:

«Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидел... синих французских драгун... Он чутьем чувствовал, что, ежели ударить теперь..., они не устоят; но... сию минуту, иначе будет уже поздно... Ростов... толкнул лошадь... и не ус-

пел еще скомандовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним... Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая... Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказа, был... убежден, что начальник требует его... чтобы наказать его за самовольный поступок...
Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, — и никак не мог понять чего-то... Так только-то и есть всего то, что называется героизмом? И разве я делал это для отечества?..»

Сходства очевидны. Это и любительские, а не идейные, мотивы поведения героя, и нарушение им воинской дисциплины, и его официальный триумф, и последующее отмежевание от героизма. Но у Толстого спонтанный, противу правил, поступок Ростова выдержан в «русском» духе близости к природе, интуитивной безотчетности и «роевой» совместности с эскадроном. А Аксенов переводит его в план британского индивидуализма и спортивного экспериментаторства, с примесью «чистого любопытства» из Остапа Бендера. Что же касается роли личности в истории, то тут Аксенов идет в разрез не только с марксизмом-ленинизмом, но и с Толстым, у которого крупные

исторические события тоже определяются действиями масс, а не отдельных героев, хотя бы и любимых.

Рассекреченные анализом, подобные эффекты не теряют, я думаю, а приобретают в изысканности, хотя замышлялись они, скорее всего, не как аллюзии, а как оригинальные находки. Оригинальные и безусловно удачные, ибо освященные каким-то, непонятно каким, высшим авторитетом. То есть, сначала кажется, что непонятно, а теперь понятно — авторитетом интертекста.

Таковы неожиданные удары со стороны классика и инстинктивные ответные попытки победить учителя.

Антонов огонь

В 80-е годы Западная Германия внезапно оказалась зоной действия мощных прочеховских сил. Стали появляться книги, в которых компонентами соответствующего семантического поля — словами «Чехов», «чеховский», «Антон», «Баденвайлер» и под. — были заполнены все мыслимые позиции: заглавие, название издательства, фамилия автора, имя главного героя. Книжки эти выходили с завидной частотой и рассылались по миру с подкупающей, но и настораживающей, бесплатностью. Чехов предстал в них неиссякаемым источником православной мудрости, а их автор — Э. Бройде, alias Д. А. Антонов, — его пророком.

После пары переездов у меня сохранился лишь один из этих пейпербэков. Повествование в нем открывается словом «Антон» и начинается *in medias res* — на чеховских торжествах:

«Антон морщился, как от зубной боли, вслушиваясь в немецкие юбилейные речи... «... Черти занесли меня в этот кукольный Баденвайлер!...» (Д. А. Антонов, «Чеховград» [West Germany: СНЕКНОВ-GRAD Publishing House. Copyright by the author. 1986. 224 с.]. С. 3).

Герой приезжает на симпозиум из еще полузакрытой России и встречается со своей давней пассией Наташей. Но любовные перипетии перебиваются сценами возмущенного ознакомления с новейшими структуралистскими и иными неподобающими подходами к Чехову, русской литературе и мирозданию в целом.

Моя привязанность к этой книге объясняется просто. Отложив Наташу в сторону, Антон (а с ним и не по-бахтински монологичный Антонов) посвящает десятки полемических страниц моей вдвое более короткой статейке в «Гранях». В те годы я сам страдал комплексом неопубликованности, и потому оценил высокий коэффициент внимания, оказанного мне Антоновым. В дальнейшем он был превышен Б. Сарновым, обрушившимся на мое ахматоборчество в троекратном размере, но первенство остается за Антоновым — дорого яичко к Христову дню.

Помимо нарциссической благодарности к автору, запомнилось удивление по поводу его уникальной в российском обиходе конфессиональной фиксации на Чехове. В отличие от Пушкина, Есенина, Ахматовой и Высоцкого (и, ненужное зачеркнуть, Иисуса Христа, Че Гевары, Ленина, Леннона, Элвиса Пресли и мадам Блаватской), Чехову удается сохранять известную дистантность, невовлеченность, почти безличность. От него не ожидается внезапное появление «на Усачевке возле остановки» и скорая экзистенциальная помощь примером, советом, а то и делом. Его житейские уроки, в общем, ограничиваются напоминанием мыть лицо и руки перед едой, по мере возможности выдавливать из себя раба и не использовать портрет писателя Лажечникова не по назначению. Тем поучительнее редкие, но повторяющиеся случаи прямого самоотождествления с кумиром.

Автобиографический «роман-идиллия» моего сокурсника и старинного знакомого Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (М.: ОЛМА-ПРЕСС. 2001. 512 с.) написан, сразу видно, искусственным филологом. Детство изображается трудное, ссыльное, и в то же время счастливое, — как бы Горький-Солженицын и в то же время Толстой и немного Пруст. Тем более, что происхождение героя оказывается шикарно смешанным — поповско-дворянско-интеллигентско-народным.

На отменном уровне и повествовательная перспектива. Взрослый герой-рассказчик похож на автора, но не совпадает с ним. А. П. Чудаков —

филолог, чеховед, а герой подан как историк; Чудакова зовут Александр, а героя... героя — Антон. Репортаж ведется в основном из детства, но перемежается комментариями из будущего — с точки зрения повзрослевшего и повидавшего мир героя. Для вящей изощренности рассказ идет то в 1-м лице («Я вспомнил...»), то в 3-м («Антон подумал...»), часто на одной и той же странице и применительно как к детским, так и к взрослым эпизодам. Чувствуется волевая рука литературоведа, посвятившего не одну сотню страниц «Поэтике Чехова», в частности, его нарративной работе с точками зрения.

Фактографическая густота письма призвана свидетельствовать о мемуарной подлинности текста, но доведена до какой-то невозможной супер-кондиции автором — теоретиком «вещного» подхода к миру писателя (в частности, «Миру Чехова»). Читать эту «Степь» длиной в 500 страниц трудно, но по знакомству и из профессиональной ревности не отступаешься.

А главное, любопытно, какими отчеством и фамилией снабдит автор своего героя, тем более, что инициалы у самого Чудакова соблазнительно чеховские. От «Ч» он стоически отказывается и присваивает отцу героя фамилию Стремоухов — Петр Иванович Стремоухов. Герой, следовательно, Антон Петрович, хотя впрямую это, как будто, не выписывается. Ну, а поскольку автор — Александр Павлович, то, если махнуть именами отчествами (ведь где Петр, там и Павел), получается Ан-

тон Палыч, пепел которого стучит-таки в закаленное нарратологией чеховедческое сердце. И никакой мглой этого факта не окутаешь.

Кон-арт

Недавно в Лос-Анджелесе, в музее Гетти, состоялся перформанс Ильи Кабакова «Художник, которого не было». Сначала шоу представил куратор музея, американец, затем вступительную лекцию — по-английски, но с акцентом, удостоверяющим ее международную научность, — прочел привезенный из Германии Боря Гройс, после чего Кабаков, говоря тоже в 3-м лице, но уже совсем по-русски (переводила Mrs. Emilia Kabakov) демонстрировал слайды.

Несмотря на многофигурную композицию и провокационное название, было скучно. Сразу определилась пристойная атмосфера официально спонсированного капустника. Кабаков рассказывает о творчестве вымышленного художника Шарля Розенталя, за которого он написал все его частично или целиком белые полотна, — образованная публика вежливо слушает. Предлагают задавать вопросы — кто-то с тонкой улыбкой спрашивает, не повлиял ли Кабаков на Розенталя. Кабаков отвечает, что наоборот, Розенталь повлиял на Кабакова — еще до своего появления на свет. Кого-то интересует, заслуживает ли Розенталь такого внимания, — Кабаков, скромно жмурясь, говорит, что, наверно, заслуживает, раз уж его выставляют в

Токио. Хотят знать что-то еще, — Кабаков кивает на Гройса, дескать, вопрос к искусствоведу. Миссис Кабаков переводит все это туда и обратно.

Как я потом узнал, рецепцией в Гетти Кабаков остался недоволен: его «не поняли». Напрасно. Его поняли, и немножко в его невеселую академическую игру поиграли. Про новое платье короля не спросили.

В чем же состоит главная хохма, с которой Кабаков, вслед за Эйнштейном, едет в Токио? Если его предыдущие работы играли в советские учреждения (соцреализм, «Мурзилку», коммуналку), то теперь субверсия направляется на институт западного музея, канонизирующего занудный (пост)модерн. Это не очень забавно, поскольку практически пародии сам объект пародии.

Однако забавность в таком деле не роскошь, а главный ингредиент. Концептуальные картины могут быть неказисты, но должны (в отличие от «Анны Карениной») выигрывать в пересказе — как *conversation pieces* («предметы для разговора»). А так все это забавно в основном для автора, который смеется, как говорят американцы, до самого банка. Собственно, в банковской — институциональной — операции и состоит суть данного вида деятельности. Перед нами, так сказать, кон-арт, от английского *con artist*, «делец [букв. артист] на доверии».

В американской литературе классические фигуры кон-артистов это твеновские Король и Герцог (кстати, позирующие и в роли актеров), в рус-

ской, конечно, Остап Бендер. Феномен «Кабак» — новое подтверждение великой объяснительной и прогнозирующей силы ильфопетровского текста. Сага о Бендере построена как серия манипулятивных имитаций великим комбинатором целой галереи жуликов-приспособленцев мелкого масштаба (в том числе художников-авангардистов). Каждый из них в меру сил адаптируется к какой-то одной доставшейся ему общественной нише, Остап же с универсальным протеизмом подделывается под любой из их вымученных обликов. Более того, он пародирует государственные институты, создавая в pendant к «Геркулесу» контору по заготовке рогов и копыт — первый опыт соц-арта.

Бендер был любимцем многих поколений советских читателей. Однако использование его имени в качестве нарицательного ярлыка таит семантический сдвиг. В советском бытовом дискурсе «Остапом Бендером» назывался не артист-интеллектуал, карнавальный критик истеблишмента, а ловкий подпольный делец, продуктом деятельности которого были не остроумные речи, а накопленные миллионы. Такой персонаж в «Золотом тельце» есть; это антагонист Бендера — Корейко. В присвоении реальному типу миллионера-подпольщика имени Бендера произошла несправедливая по отношению к Корейко подмена терминов.

Действительно, миллионов у Корейко больше, чем у Остапа, и они остаются при нем, а не глупо утрачиваются на румынской границе; маскирует

ся он тоже лучше Бендера, контору которого закрывают; да и по линии подрыва истеблишмента он последовательнее — грабит именно государство. Но Остап затмевает его своим бескорыстным артистизмом, и в результате на роль полуодобрительного прозвища для подпольного бизнесмена выбирается не Корейко, а Бендер. Вслед за авторами, читатели не любят «белоглазого подхалима», «серого советского мышонка» и склонны вытеснять его из памяти.

С тех пор, как Марсель Дюшан провозгласил переход к несетчаточной живописи, мы видели множество художников, которых не было. Кабак, конечно, сделал следующий мета-шаг в сторону торговли воздухом, но уже и Корейко умел наживаться на переливании воды из одного ведра в другое. Однако ничего цитабельного (вроде того, что деньги собираются на ремонт Провала, чтобы не слишком провалился), никаких собственно художественных артефактов от Корейко не осталось. Как говорила одна старая еврейка, *нит оллес цу кукен* (не на что смотреть).

P. S. Знаю, знаю, скажут — советское зашательство, ждановщина, мало ему Ахматовой, а как же Малевич, Поллок, Уорхол?!

Однажды после концерта к Владимиру Горовицу в артистическую влетела восторженная великосветская поклонница. — Изумительно! Гениально!! Маэстро, вы превзошли себя!!! Хотя Моцарта я, извините, не люблю...

— That's O. K., just an opinion («Ничего, ничего, просто еще одно мнение»).

Так что, как говорится у Зощенко, все соблюдено и все не нарушено. Just an opinion. Моцарт, Уорхол и Кабаков остаются людям.

Между жанрами

(Л. Я. Гинзбург)

Выпишу поразивший меня сразу и не перестающий интриговать фрагмент из «Литературы в поисках реальности»:

«Есть сюжеты, которые не ложатся в прозу. Нельзя, например, адекватно рассказать прозой:

Человек непроницаем уже для теплого дыхания мира; его реакции склеротически жестки, и о внутренних своих состояниях он знает как бы из вторых рук. Совершается некое психологическое событие. Не очень значительное, но оно — как в тире — попало в точку и привело все вокруг в судорожное движение. И человек вдруг увидел долгую свою жизнь.

Не такую, о какой он привык равнодушно думать словами Мопассана: жизнь не бывает ни так хороша, ни так дурна, как нам это кажется... Не ткань жизни, спутанную из всякой всячины, во множестве дней —

каждый со своей задачей... Свою жизнь он увидел простую, как остов, похожую на плохо написанную биографию.

И вот он плачет над этой непоправимой ясностью. Над тем, что жизнь была холодной и трудной. Плачет над обидами тридцатилетней давности, над болью, которой не испытывает, над неутоленным желанием вещей, давно постылых.

Для прозы это опыт недостаточно отжатый, со следами душевной сырости; душевное сырье, которое стих трансформирует своими незаменимыми средствами».

В этом отрывке из «Записей 1950-1970-х годов», загадочно все, начиная с жанра. Уже писалось о сочетании в текстах поздней Гинзбург литературоведения с мемуарной и собственно художественной прозой. Но здесь перед нами еще и некие квази-стихи, за процессом не-написания которых мы приглашены наблюдать. Это метастихотворение в прозе блещет множеством поэтических эффектов.

Тут и образная речь — *теплое дыхание мира*, и аллитерации — *простую, как остов*, чуть ли не рифмы — *всячины/задачей/плачет*, и игра вторичными смысловыми признаками — *в тире* можно прочесть и как *в тИре*, и как *в тирЕ*», тем более что эти слова взяты в тире, а за ними следует *в точку*. И, конечно, как водится в настоящей поэзии, текст перекликается с другими текстами, он не только о жизни, но и о литературе, поправляет и переписывает

ее. Явным образом цитируются слова Мопассана, а где-то в подтексте звучит то ли Пастернак — душевное сырье (ср. *Вся душевная бурда* в «Лейтенанте Шмидте»), *И вот он плачет* (ср. *И наколовшись об шитье/ С невънутой иголкой,/ Внезапно вспомнит всю ее/ И плачет втихомолку* из «Разлуки»), то ли Мандельштам (ср. то же *душевное сырье* с *Пою, когда гор-тань – сыра, душа – суха...*). А боль, которая не болит, тоже, кажется, откуда-то, не из Ахматовой ли? Ловишь себя на подозрении — экзаменует?! В то же время, несмотря на грамматическое 3-е лицо, чувствуется, что лирический герой — сама Гинзбург, что мы читаем ее собственные стихи — полу-черновик, полу-подстрочник, полу-авторцензию.

Характерно уже первое слово фрагмента — медитативный зачин *Есть...* (ср. *Есть речи – значенье/ Темно иль ничтожно...* Лермонтова и богатейшую последующую традицию вплоть до *Есть ценностей незыблемая скала...* Мандельштама и *Есть три эпохи у воспоминаний...* Ахматовой). Характерно и следующее за *Есть* отрицание: *ЕСТЬ... которые НЕ ложатся...* (ср. у Ахматовой *Есть в близости людей заветная черта,/ Ее не перейти влюбленности и страсти...*). Вообще, риторика отрицания пронизывает весь отрывок: *не ложатся, нельзя, нефоницаем, не такую, не бывает, непоправимой, не испытывает, не утолненным, недостаточно отжатый, незаменимыми*. Прием этот широко распространен в поэзии, которая любит говорить о том, чего нет, — вспомним пушкинский «Талисман» и многочисленные

мандельштамовские *Я НЕ...* (... увижу/ услышу/ войду... *Федры/ Оссиана/ в стеклянные дворцы...*). Намек на позитивный просвет в пелене негативности наступает лишь в самом конце: *незаменимые средства* отрицательны по форме, но идеально положительны по сути; впрочем, здесь они, как утверждается, отсутствуют.

Авторская речь Гинзбург полна противоречий. За *нельзя рассказать* следует рассказ; речь идет о «неотжатости опыта», но читаем мы нечто обобщенное, почти формульное. Последний парадокс особенно существенен. С одной стороны, происходит некое эмоциональное *вдруг*, человек *плачет*, текст отдает болью, холодом, судорожностью. С другой, все это дано в высшей степени отчужденно, *как бы из вторых рук*, с двойной поэтической подменой: субъективного 1-го лица объективным 3-м и биографического женского литературным неопределенно-мужским (*человек, он*).

Испытанным орудием литературного отстранения от «сырья» является техника рамок и точек зрения. В нашем фрагменте обрамление даже двойное. Внешнюю рамку (первый и последний абзацы) составляют рассуждения о стихах и прозе. Внутри нее изображен человек, сначала непроницаемый для мира, но затем приходящий в движение. Этот толчок заставляет его (и нас) заглянуть еще глубже, внутрь следующей рамки (которую я выделил абзацами — вторым и предпоследним; у Гинзбург вообще весь текст сплошной) и увидеть свою *долгую жизнь*. Впрочем, собственно «жизни»

мы не видим и там: даже в самой глубине серии рамок автор находит опять-таки *биографию*, да к тому же *плохо написанную*. Эта *плохо написанная*, но тем не менее *непоправимая*, картина вызывает сильнейший эмоциональный взрыв (развивающий первое *судорожное движение*). Прорвав внутреннюю рамку, он соединяет прошлое и настоящее, после чего, тоже на негативной ноте, замыкается и внешняя рамка (увы, дескать, не стихи!).

Три плана связаны друг с другом не только прямыми эмоциональными скрепами, но и изящным параллелизмом. В двух внутренних, «житейских», планах описывается трудная жизнь (в одном плане *долгая, вся*, в другом — один теперешний судорожный момент). На самой внешней рамке этому вторят авторские ламентации по поводу непомерности художественной задачи и зависти к другому роду искусства, что, кстати, является еще одной риторической фигурой из репертуара поэзии.

Само по себе обилие поэтических приемов не делает, конечно, этот отрывок стихотворением в строгом смысле. Как писали формалисты, в частности, один из учителей Гинзбург — Ю. Н. Тынянов, важна доминанта, главный конструктивный принцип текста. Каков же он?

Лиричности фрагмента противостоит его крайняя абстрактность, формульность, установка на научность, воспринимающаяся, особенно в разговоре на душевные темы, как сухость и наукообразие. Текст пестрит беззастенчиво научной лекси-

кой: *адекватно, реакции, склеротически, некое психологическое событие, биография, тридцатилетней давности, трансформирует...* Подобная терминология естественно мотивирована литературоведческим статусом книги в целом и ее автора. Но в контексте лирической темы и риторики отрывка эта терминология активизируется, воспринимаясь как свежий эффект вторжения в поэзию интеллектуально-прозаического начала. А это значит, что внепоэтический — «научный» — элемент находит себе место в поэтической структуре текста, причем вполне в духе известного историко-литературного принципа прозаизации поэзии.

Особенно интенсивным процесс прозаизации стал в XX в., выразившись, в частности, в двух разных, если не противоположных, установках: на концептуальную схематизацию текста (у футуристов и др.) и на «неумелое письмо» (в сказе и сходных явлениях, от Зощенко до Лимонова); у Хлебникова находим обе эти установки сразу. Гинзбург, конечно, ближе к первой из них (металитературному концептуализму), но у нее представлена и вторая — *плохо написанной биографии* подходят *неадекватная проза*, «сырость» и «недостаточная отжатость».

Разумеется, все сказанное — не более, чем научное объяснение в любви, попытка зависти, приступ anxiety of influence («страха влияния»? — Шишков, прости). Л. Я. Гинзбург не оставляет нам возможности метавозвыситься над ее текстом. В нем уже все есть — человек в поисках утраченного

времени, персонаж в поисках автора, критик в поисках жанра. Единственное, на что можно претендовать, это на роль благодарного ценителя находок, не по-пикассовски прикинувшихся поисками.

Р. С. Лидия Яковлевна прочла первый вариант разбора, я успел учесть ее замечания, и она одобрила окончательный текст.

5



ПОСЫЛКА

Пуцай

Не успела моя книга о Зощенко выйти, как в ней обнаружили досадные пробелы. Кому жаловаться? Куда слать поправки?

В рассказе «Личная жизнь» фигурируют одновременно: Фрейд — под маской «буржуазного экономиста, или, кажется, химика, который высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, что мы делаем, мы делаем для женщин», и Пушкин — памятник, которому в момент решающего свидания с дамой герой, «мысленно любуясь стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин... подмигивает... дескать, вот мол, началось, Александр Сергеевич».

Про все это я написал. Упустил только, что у Пушкина у самого есть фраза о ценности женщин, дословно роднящая его с Фрейдом и практически процитированная в рассказе: «Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий...» («Арап Петра Великого»). Спыхватился я уже потом, когда услышал эту фразу из уст одной прелестной, кстати, пушкинистки.

Про рассказ «Не пуцу» я написал тоже, в общем, неплохо. Но вот теперь один коллега с далекого Алтая прислал мне свой независимо сделанный разбор. Разбор хороший и в то же время «нестрашный»: у него свое, у меня свое. Одно обидно — он заметил то, что я постыдно прозевал, — что проходящая в конце рассказа реплика: «Пуцай идут» эффектно обращает заглавие.

Утешаться остается тем, что всех, как гласит блатная мудрость, не переброешь. А на самый худой конец есть и обратная теорема, принадлежащая Вите Живову: «Всего не упустишь!»

Махаловка с НРЗБ

Я был уже немного знаком с Сергеем Гандлевским, когда под впечатлением «Устроиться на автобазу...» занялся его стихами — с точки зрения «инфинитивной поэзии». Из Санта-Моники я по электронной почте показал ему черновик статьи, получил ценные разъяснения и пригласил его на свой доклад в Москве (июнь 2000 г.). Поэт явился и, с непроницаемым видом играя самого себя, досидел до конца.

Он оказался моим соседом по двору и предложил заходить, что я и стал делать, наслаждаясь обществом его семьи, мастерским кофе по-турецки и нелицеприятным *table talk*'ом высшей пробы. Сережа подарил мне несколько своих книжек, а я ему своих, в том числе сборник рассказов «НРЗБ» (1991) и «Мемуарные виньетки» (2000).

Разговоры за кофе и на прогулках с его боксером Чарли были о разном — о культурном и политическом быте, литературе, наших собственных и чужих новинках. Мне близок Сережин неоклассицизм: концепта недостаточно, главное, как он говорит, предъявить «изделие». Но о моем последнем изделии — «Виньетках» — речь все не заходила, сам же я ее не заводил,

подозревая худшее и предпочитая суровое мужское обоюдное молчание.

Приехав летом 2001 г., я вручил Сереже свою новую статью (об обезьянах у Ходасевича и Зощенко) и за очередным кофе ожидал услышать отзыв. Перед тем, как идти к нему, я в телефонном разговоре с одной знакомой неожиданно нарушил внутреннее табу и обрисовал сюжет с суровым молчанием мужчин: вот, мол, буду у Гандлевского, а про «Виньетки» — ни-ни. Но прислушавшись к себе, я ощутил, что где-то там, в душевной глубине, вербализованный и как бы осознавший себя сюжет, преодолев первый барьер, готовится ко второму прыжку.

За кофе нелицеприятный Сережа оценил статью как интересную, но не идущую в сравнение с прошлогодней.

— Конечно, та была о вас...

— Ну зачем. Тут всего лишь любопытные подтексты, а там было откровение. Ведь пишешь — думаешь, уникальное, а оказывается, работаешь в каноне.

Под эти сладостные звуки я окончательно размяк и перестал противиться зашевелившемуся соблазну. В конце концов, подумал я, суровая мужская прямота стоит сурового мужского молчания.

— Сережа, а что, мои виньетки вам совсем не понравились? Вы скажите, я пойму, — я указал на мужской характер нашей дружбы, — ведь ваша «Трепанация» сделана иначе.

— Скажу больше, я их не читал. Все знают, что последние полгода я пишу повесть и ничего не читаю.

— Но прошел год, так что шесть месяцев остаются не покрытыми.

— Все знают, я вообще ничего не читаю...

— Жаль. Виньетками я дорожу больше, чем, скажем, рассказами, которые даже не помню, дарил ли вам. А о чем «повесть»? Неужели просто про Ивана Ивановича?

— Именно, хотя я всегда твердил, что такое повествование устарело.

— А как называется?

— «НРЗБ». Понимаете?

— Как не понять — у меня у самого есть такой рассказ, по нему и книжка озаглавлена.

Разговор принимал поистине мужской оборот. Слегка дрогнув, Сережа спросил:

— У вас в уголках?

— В каких уголках?

Сережа руками показал угловые скобки.

— Нет, но думаю, и так ясно. А у вас ведь, небось, не просто заглавие, а сюжетный лейтмотив? — иезуитствовал я.

— Да, я и стихи для героя написал, там «нрзб» зарифмовано...

— У меня не зарифмовано, я взял пушкинские... Знаете, если я не дарил книжку, можно посмотреть на моем сайте. — Я повел рукой в сторону внутренних комнат.

Но Сережа, как написали бы мои любимые авторы, не сделал ни малейшей попытки предьявить стул.

— Нет, — демонстрируя мужскую выдержку, сказал он, — я себе настроение портить не буду.

Тут драматическая сцена прервалась — с дачи приехало Сережино семейство, и мы попрощались, наскоро поклявшись никому ни слова.

Вечером Сережа позвонил.

— Алик, вы очень расстроились, что я не читал «Виньетки»?

— Да уж, наверно, не больше, чем Вы, что не читали «НРЗБ».

— Ужасно. Я даже заплакался Лене. Она поддержала меня, сказала: «Не уступай». Знаете, я потом в интервью все объясню...

Мне никаких интервью не предстояло, и я стал немедленно рассказывать знакомым, разумеется, под честное мужское ни гу-гу. А на другой день позвонил сам.

— Вот вы, Сережа, не любите вебсайтов, а я тут готовлю к вывешиванию статью, собственно, не статью, а главу из одной книги, точнее, не книги, а учебника, да, учебника для высших и средних учебных заведений с гуманитарным уклоном, — про «НРЗБ» пишут. Так что, как вы, с двумя школьниками в семье, это пропустили, просто загадка.

— Да, ужасно. Я даже Акунину пожаловался. Он говорит, надо менять. Я говорю, подумаешь, вот у тебя «Особые поручения» — таких названий в литературе, наверняка, десятки. Да, говорит, но, понимаешь, у меня проза массовая, а у тебя элитная.

— Будем утешаться тем, что доказано мое моральное право вас исследовать. Конгениальность налицо.

— Я решил вообще изменить стиль заглавия, тем более, что вещь фабульная.

— Например, «Я вас любил...»?

— Да, что-нибудь простое, вечное. А то «НРЗБ» слишком привязывало мою повесть к 90-м годам.

Следующий раунд состоялся за прощальным кофе перед моим отлетом в Штаты.

— Алик, я нашел у себя вашу книжку, с надписью. Я узнал ее...

— В ответ признаюсь, что под честное слово иногда рассказываю эту историю.

— А уж я-то!..

Мы попрощались крепким мужским рукопожатием, и я улетел умиротворенный, тем более что Сережа с немногословной мужской деликатностью вплел в разговор цитату из «Виньеток».

... Проходит два месяца — получаю e-mail: «Dorogoi Alik! Vse-taki NRZB obzhalovaniju ne podlezhit. Izvinite. Vash S. G.»

Что тут поделаешь? Как сказал в соответствующем интервью, кажется, Глинка, а до него, кажется, Мольер: «Je prends mon bien partout où je le trouve» («Я беру свое добро везде, где нахожу его»). И, как писал неразборчивый Пушкин, *ветру и орлу / И сердцу девы нет закона. / Гордись: таков и ты, поэт, / И для тебя условий нет.*

Не немецкий, а ненецкий

«Мемуарные виньетки» печатаются, а также вывешиваются в Интернете, и на них поступают отклики.

Некоторые критические, но очень полезные. Так, мне уже указали на ошибки во французском и английском; в Интернете исправил, в книжках исправляю по мере раздаривания.

Одна из бывших жен заявила по телефону претензию, что изображена исключительно в бытовом плане, а она уже четверть века как кандидат наук, в Америке у нее своя компьютерная компания — она и работодатель, и менеджер, и руководитель проекта. Я ответил, что жалобы пожарников на их неправильное изображение — сюжет в советской литературе известный, и конфликт постепенно уладился.

Другая живет далеко, в Париже, и, еще не видев книги, поинтересовалась у захавшего в гости общего знакомого, есть ли там о ней. Я обещал книгу при случае привезти, а пока просил передать, что о ней есть: ей посвящено слово «почти» во фразе «почти все мои жены готовили хорошо».

Один рецензент ядовито описывает мой юмор как итеэровский, но призывает читателей отнестись к старику-шестидесятнику снисходительно. Другой отмечает опрятную бедность издания и журит за длинноты. Третья отчитывает за признания в былом коллаборационизме. И все хором обличают нарциссическую нескромность автора. Это точно. Но авторство, как я уже отмечал, вещь вообще нескромная.

Самый поразительный удар — прямо-таки в спину — настиг меня в родной «Звезде», где уж, казалось бы, можно было расслабиться. В 12-м номере

за 2000 год, под занавес тысячелетия, там появилось возмущенное «Письмо в редакцию».

Собственно, Андрей Арьев предупредил меня еще в октябре, дескать, пришло письмо по поводу твоей пуштинской виньетки («Встречи с интересными людьми») — от самого Зельдовича. Я, помнится, удивился, какое дело Зельдовичу до Пуштина, тем более что ему вроде бы сто лет в обед; Андрей предположил, что, наверно, биологи нашли к нему какой-то ход. Это звучало правдоподобно, поскольку физика и биология уже давно сливаются в научном экстазе. Было даже лестно, что ради меня академики, находящиеся на переднем крае науки, временно отложили обуздание плазмы и ДНК и засели за письмо протеста. Зельдовича я дополнительно уважаю за приписываемую ему фразу: «Большевики пишут слово *БОГ* с маленькой буквы потому, что опасаются, что если написать с большой, то как бы Он не засуществовал». Я присоединился к мысли, что Зельдовича надо напечатать, и с нетерпением ждал попадания под эту лошадь, но продолжал дивиться, что он забросил занятия физикой и теологией по столь ничтожному поводу.

О предстоящем — а затем уже и состоявшемся, но еще не доплывшем на тихоокеанский берег и мне недоступном — поношении меня Зельдовичем я с удовольствием рассказывал знакомым. Некоторые сомневались: точно ли Зельдович? Да, отвечал я, представьте, сто лет в обед, а взялся-таки за перо. Да нет, говорили мне, он давно умер. Как же

умер, парировал я, когда написал, — не с того же света? Это уж было бы слишком много чести!..

В общем, журнал пришел. Оказалось, не Зельдович, а Зельдич. Как говорится в одном анекдоте советских времен, «унитаз не немецкий, а ненецкий, но полный комплект» (Кто не помнит: «Эту палку втыкаете в землю, чтобы не снесло ветром, а этой отбиваетесь от волков»). С передержками, жалобами на диффамацию пожарных и концовкой в традиционном стиле: «Что познавательного вынесет для себя читатель “виньеток”?».

Хорошо, хоть Зельдовича от них Бог уберег.

Еще не вечер

В 1967 году я отдыхал в санатории «Курпаты» под Ялтой. «Курпаты» принадлежали Музфонду, но главный корпус арендовался «Интуристом», так что обладателям советских путевок (меня устроил папа — член Музфонда) приходилось довольствоваться номерами на двоих. Моим соседом оказался бодрый восьмидесятилетний старичок с легко запоминающимся именем, отчеством и фамилией: Александр Сергеевич Соловьев.

— Я вас понимаю, — сказал он в первую же минуту знакомства. — Ваше дело молодое. Так что чувствуйте себя свободно. Приходите и уходите в любое время, хотите — в дверь, хотите — в окно. Меня не стесняйтесь. Я понимаю.

Лучшего соседа нельзя было себе пожелать, и мы зажили душа в душу. Правда, воспользоваться

широтой его взглядов мне почти не пришлось: в то лето я усиленно работал над диссертацией, а когда у меня все-таки возник курортный роман, у его героини, интуристовской переводчицы, оказалась отдельная комната, и я приходил к себе уже после завтрака.

Как-то раз мы встретились с Александром Сергеевичем, когда он вернулся с утренней прогулки в возбужденном состоянии.

— Сейчас был новый заезд, — сказал он. — Я познакомился с одной из новоприбывших. Такая полная дама, лет пятидесяти. Я подошел к ней, представился, предложил показать территорию... Мы погуляли по парку, разговорились. Очень интересная дама. Я, как будто, тоже произвел на нее впечатление. Но потом я сморозил страшную глупость...

— Глупость? Какую?

— Она спросила, сколько мне лет, я подумал и сказал семьдесят. И сразу понял, что свалил дурака, — она тут же потеряла ко мне интерес. Да... Надо было сказать шестьдесят!..

Он сокрушенно замолчал. Разница между шестьюдесятью и семьюдесятью показалась мне, тридцатилетнему, сугубо академической, но я, конечно, не подал виду. Заключительная реплика Александра Сергеевича врезалась в мою память, и с тех пор я несколько раз использовал ее в шутиво-утешительных тостах на шестидесятилетних юбилеях старших коллег (в том числе Розенцвейга — в 1971-м).

А когда мне самому стукнуло шестьдесят два, я подарил себе эту запись.

Доля шутки

Насколько честен самый добросовестный реалистический текст?

Шкловскому принадлежит разграничение фабулы и сюжета: того, *что* рассказывается, и того, *как*. Когда фабула берется «из жизни» — из истории, биографии, документа, она оказывается носителем «правды». На сюжет же возлагается освещение этой «правды» — вчитывание в нее авторских установок.

Эйзенштейн пришел к своей теории монтажа, поработав подмастерьем Эсфири Шуб над идейно направленным «перемонтированием» западных фильмов. Ее шедевр — «Падение династии Романовых», где с помощью монтажных ножниц и клея кинохроника царского времени поставлена на службу большевистской пропаганде. Исходные кадры — чистая фабульная «правда», а монтаж — сюжетная манипуляция в интересах определенной идеологии, то есть, строго говоря, вымысла, с точки зрения же автора, — глубокой «истины», скрытой в фактах.

Взаимная относительность того, что по-русски удается противопоставить как «правду» и «истину», была осознана Ницше. На знаменитый вопрос Пилата он ответил радикально антифабульным образом: «Что же такое истина? Подвижная армия

метафор, метонимий... сумма человеческих отношений, которые были усилены... и украшены поэтически и риторически и от долгого употребления обрели твердость, каноничность и обязательность». Аналогичную фразу вложил в уста своему рассказчику в «Гюи де Мопассане» друг Эйзенштейна Бабель: «Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия».

Рецепты соединения «правды» и «истины» дают целую гамму переходов от протокольного документа к дневнику, историческому описанию, историческому роману и далее роману беллетристическому, научно-и просто фантастическому. Для мемуарных текстов стержневым является вопрос о степенях свободы в повествовательной обработке «правды» — о том, чтобы, перефразируя Берлага, все делалось одновременно в интересах правды и в интересах истины.

Особый соблазн представляет возможность сознательного применения приемов, описанных великими теоретиками. И уж полный нарциссический кайф (а нарциссизм и наркотики — от одного греческого корня) дает ретроспективный разбор этих опытов, освященный, кстати, авторитетом Эйзенштейна, который видел себя и Моцартом, и Сальери.

В серовском портрете Ермоловой Эйзенштейн обнаружил наложение ряда монтажных планов. Обрезы рамы, линии пола, зеркала и, наконец, отраженного в зеркале верхнего угла залы (на ко-

торый спроецирована голова) дают последовательность укрупнений по мере приближения к лицу актрисы. При этом изображение постепенно переходит от точки зрения сверху (на ноги) к точке зрения снизу (на голову). Сочетание этих двух конструкций создает у зрителя ощущение коленопреклонения перед вырастающей на глазах моделью.

А в автоанализе «Потемкина» Эйзенштейн пишет, что фильм «выглядит как хроника, а действует как драма», — благодаря тому, что изложение фактов строится по открытой им «экстатической формуле»: в фильме в целом и в каждом из его пяти актов «действие как бы выходит из себя», перебрасываясь по всем измерениям в свою противоположность.

Позволю себе несколько нескромных па à la Эйзенштейн.

По поводу своего мемуарного эссе о Якобсоне я с удовольствием слушал положительные отзывы: «интересно читается», «оставляет чувство близкого знакомства», «показывает его со стороны». Любопытнее было то, что среди критических замечаний блистали своим отсутствием привычные упреки в нарциссизме. Но, как известно от того же Якобсона, против инварианта не попрешь. Мой нарциссизм никуда, конечно, не делся; он просто ушел в позаимствованные у великих мастеров повествовательные приемы.

Прежде всего потребовалось четко осознать, что хотя в рассказе о встречах с Якобсоном моя драгоценная личность будет присутствовать, она

никоим образом не должна выпячиваться. То есть, нельзя будет, скажем, прибегнуть к излюбленному другом Якобсона Маяковским игривому «опусканию» классиков: стаскиванию с пьедестала, похлопыванию по плечу и дальнейшему осквернению.

Вместо этого я решил опробовать серовско-эйзенштейновскую фигуру «преклонения», но вывернуть ее наизнанку. Не искажая фактов, я построил историю знакомства с Якобсоном на постепенной смене точек зрения: от «издали и снизу» (слухи о нем и чтение его работ) к «вблизи и снизу» (восприятие его лекции и знакомство в Москве), затем к «вблизи и вровень» (в гостях у него в Гарварде), к «вблизи и сверху» (тщеславие и другие слабости Якобсона) и, наконец, к «издали и сверху» (посмертный разбор его обид на пост-структуралистов).

В сочетании с прямо выраженными — вполне искренними — восторгами перед культовой фигурой и осторожными заявками на самоотождествление с ней этот рисунок «коленипреклонения наоборот» дал, мне кажется, искомый результат. Взаимоукрошению подверглись и устрашающая статуя великого пращура, и по-эдиповски взирающий на нее самолюбивый «маленький человек»-мемуарист.

... Правду говорить легко и приятно, тем более — нарциссическую.

Указатель имен

- | | |
|--|---|
| Акимов, полковник 80-82 | Ахмадулина Б. А. 144-155, 420-425, 527 |
| Акопов А. А. 127 | Ахманова О. С. 60-61 |
| Аксенов В. П. 403, 421-422, 450, 568-572 | Ахматова А. А. 131-136, 155, 161, 214-215, 261-262, 467-468, 476-479, 537, 540-543, 549, 561, 573-574, 579, 582 |
| Акунин Б. (Чхартишвили Г. Ш.) 593 | Ашенбах Густав фон 234-235 |
| Алехин А. А. 96 | |
| Аллен Вуди 170 | |
| Алянский С. М. 411 | |
| Амбегаокар Винай 375, 378 | Бабель И. Э. 47, 324, 329, 403, 411, 427, 466-467, 600 |
| Амин Иди 490 | бабушка, старушка 249-251 |
| Анастасия Ивановна 32-33 | Бажан Микола (Н. П.) 499 |
| Андерс Владислав 271 | Баканов, полковник 147 |
| Андерсен-Нексё Мартин 399 | Баран Генрих 344 |
| Анджеевски Шила 273 | Баратынский Е. А. 324 |
| Анджеевский Богумил 271-274 | Барре Мохаммед Сиад, генерал 255-256, 312 |
| Андреев Л. Н. 469 | Барт Ролан 475 |
| Анка, пулеметчица 460 | Баскин Эля 568 |
| Антониони Микельанджело 243, 375-378 | Баткин Л. М. 480-482 |
| Аполлон 73, 540 | Батюшков К. Н. 405-406, 409-411 |
| Апресян Ю. Д. 141-142, 180, 220, 281 | Баумов 545 |
| Аристотель 558 | Бах Иоганн Себастьян 181-182 |
| Аркадьев В. Г. 65, 72, 74, 78, 545 | Бахтин М. М. 72, 221, 245-246, 323, 402, 434, 449, 475, 537 |
| Арьев А. Ю. 596 | |
| Аташева П. М. 547-548 | Башевис Зингер Исаак 374 |
| Афина 64 | Башмачкин А. А. 369 |

- Бейкер Карлос 112
 Бейлис В. А. 323
 Безродный И. С. 208-213
 Безухов П. К. 429
 Белая Г. А. 543-544
 Белинский В. Г. 245
 Бель Мари 108-110
 Белый Андрей (Бугасв Б. Н.) 399
 Бельмондо Жан Поль 241
 Бенвенист Эмиль Б 358
 Бендер О. Э. 13, 180, 193, 260, 405, 411, 578-579
 Бендерский 411
 Бенигсен Л. Л. 567-568
 Берг А. И. адмирал 280-281, 309
 Бергманн Арни 112
 Березин Ф. П. 291
 Берия Л. П. 562
 Берлин Исая, сэр 542-543
 Бесс Ги 292
 Бете Ганс 384
 Бетховен Людвиг ван 104, 108, 208-209, 212
 Бицоев, полковник 65
 Блаватская Е. П., мадам 574
 Благой Д. Д. 217-218
 Блок А. А. 104
 Блум Гарольд 403
 Блументол Стив 329-331
 Блэколл Эрик 383
 Блюмбаум А. Б. 595
 Блюменфельд Бениамин 95
- Боас Франц 282
 Бовари Эмма, мадам 103
 Богард Дирк 233-236
 Богарт Хамфри 473
 Бонд Джеймс 74
 Бор Нильс 191
 Борджиа (Борджа), семейство 532
 Борман Мартин 71
 Бородулина М. К. 173, 290, 294, 314
 Борхес Хорхе Луис 374, 426-41
 Ботвинник М. М. 96-97
 Брагинский И. С. 213, 498-499
 Брежнев, Л. И. 260
 Брик Л. Ю. 132
 Бродский И. А. 432-433, 467
 Бройде Э. (Антонов Д. А.) 572-573
 Бройль (Брольи, Бролье) Луи Виктор де 178-179
 Бронштейн Д. И. 96
 Брюан Аристид 113
 Буало Никола 386
 Булаков М. А. 537, 567-568
 Буратино 31
 Бурьянова М. 521
 Бушмин А. С. 238
 Буюкас, грек 370-372
 Быков Р. А. 472
 Бэбби Леонард 268-269, 336, 381

- Бэйли-Лэнд Ричард 568-570
 Бэмби 51-52
- Вагинов (Вагенгейм) К. К. 553
 Вайсмюллер Джонни 53
 Варенька Б. 566
 Василий, товарищ 114-115, 279
 Василий Васильевич 144
 Ватсон (Уотсон), доктор 534
 Вежбицка Анна 358, 474
 Верлен Поль 386
 Вертинский А. Н. 243
 Вертов Дзига (Кауфман Д. А.) 142
 Висконти Лукино 233
 Витька и Вовка 54
 Во Ивлин 62-63
 Вознесенский А. А. 155, 461
 Волкова Надя 21
 Волковская Е. 261
 Вольтер (Аруэ Мари Франсуа) 554
 Ворошилов К. Е. 173, 468, 562
 Высоцкий В. С. 76, 526, 574
 Вышинский А. Я. 71
- Галан Франтишек 347
 Галансков Ю. Т. 289, 474
 Галич А. А. 526
- Гальциона (Альциона, Алкиона) 402-412
 Гамкрелидзе Т. В. 357
 Гамлет, принц 497
 Гамов Джордж 36
 Гандлевский С. М. 590-594
 Гарпагон 42
 Гаспаров Б. М. 344-346, 528
 Гаспаров М. Л. 244, 403-412, 527, 553
 Гастафсон Ричард 193-194
 Гауди (-и-Корнет) Антонио 404
 Гевара Че (Серна Эрнесто Гевара де ла) 574
 Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 90
 Гейне Генрих 36, 267
 Гектор 228
 Генрих IV 156
 Гердт З. Е. 461
 Геринг Герман 71
 Герцог 577
 Гершензон М. О. 323, 495-496
 Гесс, Рудольф 71
 Гёте Иоганн Вольфганг 76-77, 165, 175, 463-464
 Гиббон Джордж 330-339, 345, 348, 381-383, 387, 452-455, 564
 Гилинис А. М. 22
 Гиммлер, Генрих 71
 Гинзбург А. И. 289, 395, 474

Гинзбург Е. Л. 139-142, 185-186
 Гинзбург (Жолковская) И. С. 117, 131, 146, 395, 595
 Гинзбург Л. Я. 580-586
 Гиннесс Алек, сэр 228-229
 Гитлер, Адольф 71, 164-165, 275, 278-279, 357, 490
 Гладкий А. В. 226-227
 Глинка М. И. 594
 Гоголь Н. В. 49, 98, 134, 369, 463, 476, 478, 487, 516, 520
 Годар Жан-Люк 358
 Голенищев-Кутузов М. И. 567-568
 Голенищев-Кутузов 2-й 213
 Гомер 428, 466
 Гораций Флакк Квинт 386
 Горбачев М. С. 421
 Горовиц Владимир 579-580
 Горький Максим (Пешков А. М.) 41, 245, 562, 574
 Грант, капитан 270
 Грант Улисс Симпсон 269
 Григорьев А. А. 459
 Гринберг В. М. 397-398, 448, 450
 Гринев П. А. 162
 Гриффит Дэвид Уорк 64
 Гройс Борис 576-577
 Гудини Гарри (Вайсс Эрих) 530-531
 Гульд Глен 181
 Гумилев Л. Н. 214-216
 Гумилев Н. С. 214-215
 Гухман М. М. 359
 Гюисманс Жорис-Карл 477
 Дали Сальвадор 404
 Даль В. И. 486
 Данилов, генерал 66-67
 Данин Д. С. 178-179
 Даниэль Ю. М. 275, 356, 474, 490
 Дантес Жорж Шарль 469
 Дарвин Чарльз 194
 Дворкин, полковник 84
 Двукраев Кирилл 95-96
 Дебрецени Пол 344
 Демидова А. С. 472
 Державин Г. Р. 393
 Деррида Жак 374, 475
 Джармуш Джим 417
 Джеймс Генри 55
 Джинчарадзе Володя 29-30
 Джэн 52
 Дзержинский Ф. Э. 35, 39
 Диамант, полковник 121
 Дик С. И. 51
 Диккенс Чарльз 62-64, 518
 Дионис 72
 Дирак Пол 36
 Дисней Уолт 52
 Довженко А. И. 288-289, 305, 310
 Долгопольский А. Б. 180-181, 295, 317-319

Долежел Любомир 339-343
 Доренский С. Л. 208
 Достоевский Ф. М. 152, 246, 278, 378, 394, 449-452
 Дрейзин Ф. А. 35, 127-129, 197, 322
 Дрожжинин В. А. 403
 Дубчек Александр 303
 Дункаль Махмуд 187-188, 282-283
 Дыбля, подполковник 83-84
 Дыбо В. А. 356
 Дюкро Освальд 358
 Дюма Александр, отец 229
 Дюшан Марсель 579
 Евсеев С. С. 288, 306
 Егоров Б. Ф. 238-239
 Ежов Н. И. 35
 Екатерина П 402
 Екельчик, капитан 121-123
 Ельцин Б. Н. 108
 Ермилов В. В. 478
 Ермолова М. Н. 600-601
 Ерофеев В. В. 449, 553
 Есенин С. А. 112, 574
 Ефимов М. Б. 128
 Ефремов И. А. 160
 Жванецкий М. М. 487
 Жданов А. А. 27, 90, 161, 562
 Живаго Е. А. 164
 Живов В. М. 585
 Жироду Жан 228
 Жолковский К. П. 39
 Жуковский В. А. 323-324
 Жулкевский Стефан 358
 Заборский Анджей 272
 Зализняк А. А. 146, 205-206, 212, 265, 295, 536
 Засулич В. И. 484
 Заходер Б. В. 444-447
 Зельдич Ю. В. 596-597
 Зельдович Я. Б. 596-597
 Зенкевич А. Н. 25-28
 Зенкевич Е. М. 24-25, 28
 Зенкевич М. А. 24-28
 Зенкин С. Е. 137-138
 Зенкин С. Н. 516
 Зиновий Михайлович 103
 Золотарев Валера 32
 Зорина Н. В. 516
 Зоценко М. М. 49, 90-92, 98, 103, 161, 165, 249, 403, 405, 467-468, 477, 537, 580, 585, 589, 591
 Ибаррури Долорес 111, 116
 Иванов Вс. Вяч. 132
 Иванов Вяч. Вс. 79, 117, 128, 130-132, 137, 175, 202, 250, 280-281, 291-292, 308-9, 343, 350, 354, 356, 359, 362, 467-468, 482-483, 510, 521, 528, 547, 561-562
 Иванов М. В. 132

- Иванова Т. В. 133, 165
 Ивинская О. В. 133, 165
 Иглтон Терри 386
 Игнатъев А. А. 341
 Игнатъев Джордж 340-341
 Иллич-Свитыч В. М. 356
 Ильф (Файнзильберг) И. А. 213, 404, 436, 487, 489, 538-540
 Иокаста 28
 Ионеско Эжен 326
 Иорданская Л. Н. 356, 449-451
 Иосиф II 196
 Ипполит 110
 Искандер Ф. А. 275-280, 314
 Искарот Иуда 469
- К**
 Кабаков И. И. 157-158, 576-579
 Каверин В. А. 132
 Каганская Майя 396-397
 Казанцев 403
 Каллер Джонатан 269-270, 349, 364-368
 Кант Иммануил 90
 Капабланка Хосе Рауль 96
 Каплер А. Я. 214
 Капчиц Г. Л. 258-260, 286-288, 295-297, 300, 310
 Карамзин Н. М. 75, 394
 Карден Патриция 378-380
 Карл I 228-229
 Карл V 404
- Кармазинов С. Е. 394
 Кармен 104-105
 Карнап Рудольф 355
 Карпов А. Е. 97
 Карпушин В. Г. 293-295
 Картер Джимми 452
 Касем Хасан 283-284, 313
 Каспаров Г. К. 97
 Кастро Жозуэ де 147-149
 Кастро Рус Фидель 117, 482
 Катанян В. А. 132
 Кеик 407-410
 Керриген Энтони 433-435
 Кижэ, подручник 408
 Ким Ир Сен 490
 Киплинг Редьярд 104, 215
 Кириллов, капитан 65
 Киров С. М. 174
 Кирсанов С. И. 353
 Клайн Ричард 349
 Кларк Катерина 501
 Клейман Н. И. 547
 Кнорозов Ю. В. 130-131
 Ковалев А. А. 219
 Козлов Л. К. 502-503, 547
 Козлов П. 258-261
 Колмогоров А. Н. 167
 Колшанский Г. В. 193, 293-294, 497
 Кольридж Сэмюэл Тейлор 559
 Коля, дядя 72-73
 Комановский 291-293, 308-309

- Компанеец Катя 391, 518-519, 522, 525-526, 530-539
 Конен В. И. (В. Дж.) 100
 Кончаловский А. С. 426
 Корейко А. И. 578-579
 Корельская К. В. 44-45, 254-255
 Корельская Т. Д. 23, 51, 168, 252-258, 325, 343, 370-373, 378-80, 424, 527, 595
 Коржавин (Мандель) Н. М. 391-394, 447
 Король 577
 Коршунов А. Д. 29-32
 Котовский Г. Г. 214-216
 Котовский Г. И. 214
 Кочеткова З. В., генеральша 252-258
 Кристева Юлия 201, 358
 Кромвель Оливер 228-229
 Крузо Робинзон 413
 Кузенков М. М. 569-570
 Кузнецов П. С. 287
 Кузьмин Валера 75-79
 Купер Гэри 242
 Курилович Ежи 358
 Курицын В. Н. 324-325, 465
 Курчев 15-16
- Л**
 Лавров А. В. 399
 Лажечников И. И. 574
 Лазарев (Шиндель) Л. И. 500
 Ланг Фриц 358
 Ларина (Седова) Е. В. 23
- Ларина Т. Д. 217
 Ларионов В. Д. 232-233
 Ласка 568
 Ласкер, Эммануил 96
 Лаура 404-405, 409
 Лахманн Рената 412
 Лебедь Н. Е. 298-299
 Леберт Стивен, Норберт 71
 Левин В. И. 218
 Левин (Лёвин) К. Д. 568
 Левин Ю. И. 528
 Левингтон Г. А. 403, 506
 Леви-Стросс Клод, 195, 365
 Ленин В. И. 84, 191, 245, 259-260, 283-284, 304-305, 313, 485, 490, 571, 574
 Леннон Джон 574
 Леонтьева Н. Н. 78
 Лермонтов М. Ю. 30, 103, 323, 463, 526, 582
 Лесков Н. С. 451
 Либерман А. С. 344
 Ливингстон Анджела 161
 Лидия Филипповна, англичанка 37-38, 57
 Лимонов (Савенко) Э. В. 55-57, 323, 373-374, 379-380, 431, 476, 506, 526, 529, 532, 585
 Линдекенс Рене 200
 Линкольн Авраам 269
 Литвинов П. М. 289
 Лоллобриджида Джина 471
 Ломинадзе В. В. 174, 244

- Ломинадзе С. В. 174, 244-246, 491-492, 504
 Лотман М. Ю. 240
 Лотман Ю. М. 236-240, 343, 356, 475, 495-496, 528
 Лысенко Т. Д. 562
 Львов Володя 61
 Льюис Фил 349
 Лэмберт Кит 370-372
 Людовик XIII 229
 Людовик XV 471-472
- Мазель** Л. А. 10-11, 15, 20-24, 54, 85-108, 208, 212, 255, 384, 498
Мазель (Урысон) Р. С. 20, 54, 89
Мазель Ю. А. 90, 230-231
Мазур Н. Н. 589
Майенова Мария-Рената 220, 358
Майерс (Абаева) Диана 506
Малаша 567-568
Малевич К. С. 579
Малинин С. Г. 298
Мамардашвили М. К. 493-495
Мамлесв Ю. В. 506
Ман Поль де 347-349, 374
Мандельштам Н. Я. 25
Мандельштам О. М. 5, 24-28, 136, 165, 411, 506, 527, 582-583
Манн Наталия 234
Манн Томас 234-6, 437
- Мао** Цзе-Дун 489-90
Марамзин В. Р. 393-394
Марков А. А. (мл.) 166
Марков А. А. (ст.) 166
Маркс Карл 106, 192, 245, 504, 471
Марлинский (Бестужев-) А. А. 463
Мастермен Маргарет 355
Матейка Ладислав 339
Матич Ольга 23, 47, 385, 392-393, 444-447, 452-455, 459, 529, 548
Махароблидзе Г. 176-177
Маяковский В. В. 350, 368, 393, 395, 461, 602
Медведев В. В. 155-8
Мейер Ян 319-321
Мейлах М. Б. 540
Мелетинский Е. М. 202, 481
Мельчук И. А. 138-139, 152-155, 167-186, 193, 206, 223, 251-252, 266-270, 281, 317-319, 349-351, 356, 359-362, 449-451, 474, 505, 527, 562
Мендоса Оскар 388, 391
Меншиков А. Д. 257
Мессерер Б. А. 430-432
Метц Кристиан 201, 358
Мефистофель 77
Мидлер А. П. 156-160
Миклессен, профессор 281
Мильтон Джон 428

- Мицц** З. Г. 240
Миронов Ф. К. 569
Михалков Н. С. 320
Михеева О. М. 68-71, 85
Миша, дядя 72
Мишка 231-232
Мольер (Поклен Жан Батист) 49, 594
Монас Сидни 560
Мономах Владимир 156
Мопассан Ги де 411, 580, 582
Мордвинов Н. Д. 214
Моренов П. В. 127
Морфей 48
Моцарт Вольфганг Амадей 196, 265, 579-580, 600
Мэлоун Дэвид 388-391
- Набоков** В. В. 96, 328-329, 367, 429-431, 437, 440
Набоков Д. В. 374
Нагибин Ю. М. 425-426
Надежда 231-232
Найман А. Г. 540-545
Наркевич А. Ю. 292, 307
Насреддин Ходжа 5
Нейгауз Г. Г. 133
Неклюдов С. Ю. 326, 497
Немзер А. С. 326, 553
Немчук Т. (Кучмент Марк) 138-139
Николз Джоханна 256-257
Николсон Джэк 243

- Ницше** Фридрих 484, 510, 599
Новиков В. И. 328
Нострадамус Мишель 531
Нуаре Филипп 241
Ньютон Исаак 342
- Обломов** И. И. 452
Оборина М. А. 359
О'Брайен 69
Овидий Назон Публий 407-410, 412
Одиссей 228
Одоевский В. Ф. 463
Озеров В. М. 491-492
Оккам Уильям 229
Окуджава Б. Ш. 451-452, 463, 469, 526-529
Олбрайт Мэдлен 150
Онегин Е. 29, 217
Оруэлл Джордж 69
Осповат А. Л. 96, 328
Островский А. Н. 22
Охотина Н. В. 287
- Павлов** И. П. 191
Падучева Е. В. 152, 206, 265, 356
Палиевский П. В. 174, 202
Паниковский М. С. 428
Паперно Ирина 18, 246, 344-346, 395-396, 400-401, 549-551
Паперный В. З. 17, 391

- Партэ Кэтлин 364
 Пастернак А. Л. 162-164
 Пастернак Б. Л. 26, 29, 131-136, 162-165, 240, 245, 255, 361, 363, 381-384, 422, 461-462, 473-475, 527, 582
 Пастернак Е. Б. 133, 164
 Пастернак (Дурье) Евг. В. 133, 164
 Пастернак (Вальтер) Ел. В. 133
 Пастернак З. Н. 133
 Пастернак Л. О. 164
 Пемброк 198-199
 Первухина Наталия 466-467
 Перцов Н. В. 49-51, 476, 503
 Петер 50
 Петришин Я. 118-123
 Петров (Катаев) Е. П. 213, 404, 436, 489, 538
 Петров И. В. 103
 Петровых М. С. 27
 Петька 459
 Печорин Г. А. 103
 Пикассо Пабло Руис 586
 Пилат Понтий 599
 Пирожкова А. Н. 329
 Платонов А. П. 425, 500
 Подгорный Н. В. 248, 302-305
 Подорога В. А. 323
 Поза Родриго, маркиз 180
 Ползунов И. И. 176
 Поливанов М. К. 132-133
 Поллок Джексон 579
 Померанц Г. С. 203
 Поморска Кристина 201, 344, 355-358, 361-363, 368
 Понте Лоренцо да (Конельяно Эмануэле) 531
 Попов Е. А. 448-451, 508
 Портос 30
 Потапенко И. Н. 463
 Преображенский Е. А. 33
 Преображенский Ф. Ф. 62, 566-567
 Пресли Элвис 574
 Пригов Д. А. 447-448, 556, 559
 Проперций Секст 406
 Пропп В. Я. 194-196, 365, 492
 Прохорова И. Д. 501
 Пруст Марсель 427, 574
 Прутков К. П. 334
 Птицын О. Б. 263-264
 Пудалов А. 113
 Пушкин А. С. 28, 164, 217, 245, 261, 323-324, 360-361, 367, 369, 402-405, 410-412, 439, 448, 468-469, 476, 478, 487, 526-527, 551, 565, 574, 589, 592, 594
 Пхенц 477
 Пятигорский А. М. 274
 Рабинович 100, 106
 Радек (Собельсон) К. Б. 487
 Рамишвили Г. В. 357

- Расин Жан 109
 Рассадин С. Б. 279
 Рассел Бертран 340-342, 488
 Рахманинов С. В. 426
 Рахметов 158
 Ревзин И. И. 356
 Рейган Рональд 452
 Рейн Е. Б. 461-462
 Рембо Артюр 179
 Реформатский А. А. 185
 Рильке Райнер Мария 165
 Риман Бернхард 186
 Риффатерр Майкл 346, 403
 Риш Клод 42
 Робер-Уден Жан Эжен 531
 Рождественский Ю. В. 293
 Розанов В. В. 475
 Розанова М. В. 474-475
 Розен А. Е., барон 411
 Розенталь Шарль 576
 Розенцвейг В. Ю. 14, 153, 237, 281, 289, 292-294, 308, 350, 356, 497, 520-521, 598
 Ройтштейн Миша 30
 Романов С. П. 284, 305
 Ронен Омри 223, 344, 355
 Росси-Ланди Ферруччо 358
 Ростов Н. И. 570-571
 Рыбакова Д. С. 10-13, 20-24, 30-34, 40, 52, 54, 58, 69, 89, 112, 135, 145, 153, 174, 255
 Рыкачев Я. С. 425
 Рубинштейн Л. С. 595
 Румшиский Б. 300, 306
 Сальери Антонио 265, 600
 Самарин Р. М. 545-546
 Санд Жорж (Дюпен Аврора) 210-212
 Сарнов Б. М. 92, 573
 Сахаров А. Д. 56, 173
 Светлова (Солженицына) Н. Д. 185, 395
 Сегал Д. М. 195, 541-544
 Сезнек Алэн 381
 Сейфрид Томас 346
 Сенокосов Ю. П. 493-495
 Селе Дьёрдь 154
 Сервантес Сааведра Мигель де 404
 Серов В. А. 600
 Синявский А. Д. 275, 303, 356, 473-478, 490, 501
 Сипачев Витя 57-59
 Скворода Г. С. 431
 Скоропанова И. С. 593
 Скотт Вальтер, сэр 165
 Смирницкий А. И. 60
 Смирнов И. П. 459, 461, 483
 Смит Хедрик 34
 Соколов Саша (А. В.) 373, 377-378, 426-444
 Сократ 108
 Солженицын А. И. 56, 240, 297, 303, 395, 452, 485-486, 574

- Соловьев А. С. 597-598
 Соссюр Фердинанд де 204
 Сталин И. В., товарищ 26, 33, 37, 71, 110-101, 173, 279, 450, 479, 490, 493, 562, 566
 Станиславский (Алексеев) К. С. 66, 124, 562
 Старкова А. К. 60, 62-64
 Старостин С. А. 410
 Старший Брат 69
 Стефенсон (Стивенсон) Джордж 176
 Степанов Г. С. 218
 Степанова З. Н. 296, 307, 312
 Столуорти Джон 382
 Стрелковский, майор 280
 Стругацкие А. Н. и Б. Н., братья 328
 Суворов А. В. 74, 430
 Сучков Б. Л. 202-203
 Сэндлер Стефани 565-566
 Сэпир (Сепир) Эдвард 190-192, 282, 355
 Тарановский К. Ф. 361-363, 403
 Тарзан 52-53
 Тарковский А. А. 242
 Тартар Хэлен 513-515
 Твен Марк (Клеменс Сэмюэл) 577
 Телешева Е. С. 547
 Тер-Микаэлян Т. М. 226
 Тименчик Р. Д. 403, 538-540, 561
 Толстая Т. Н. 553
 Толстой Л. Н. 72, 105, 146-147, 193, 355, 399-400, 435, 563-564, 566-572, 574
 Толстых, рядовой 82
 Толян 254-255
 Трир Иост 355
 Троцкий (Бронштейн) Л. Д. 33, 493
 Трубецкой Н. С. 360
 Тулуз-Лотрек Анри де 113
 Тургенев И. С. 124, 211
 Тухачевский М. Н. 570
 Тынянов Ю. Н. 470, 492, 584
 Тьюринг Алан 14-15
 Тютчев Ф. И. 85
 Уайльд Оскар 58
 Уатт Джеймс 176
 Уорф Бенджамин Ли 190-192, 282
 Уорхол Энди 579-580
 Уоткинс Калверт 358
 Урнов Д. М. 500
 Успенский Б. А. 218, 237-238, 321, 356
 Успенский В. А. 236, 321-322, 325, 356, 528
 Устинов 130
 Ушаков Д. Н. 486

- Файкин Феликс 35-39
 Файнциммер А. М. 214
 Фанфан-Тюльпан 471-472
 Федоров А. 112
 Федоров Н. А. 112
 Федра 109-110, 583
 Фейнберг Е. Л. 100
 Фейнберг И. Л. 100
 Фейлен Джеймс 466-467
 Феллини Федерико 333
 Фет (Шеншин) А. А. 85
 Филипп Жерар 471
 Филиппс, мистер 415-416
 Финн В. К. 132
 Финни Альберт 242
 Флетчер Луиз 69
 Флобер Гюстав 103
 Форман Милош 69
 Франк С. Л. 145, 449
 Франко, итальянец 334-336
 Франс Анатолий 158
 Фрейд Зигмунд 34, 162, 504-505, 538, 589
 Фролов И. Т. 493-495
 Фрунзе М. В. 569
 Фюнес Луи де 41-42, 49
 Халтурин С. Н. 484
 Хасан Ина Абдулла, мулла 187
 Хаши Абди 284-285, 308, 310
 Хаши Ахмед Абди 187-188, 283, 286, 309
 Хворобьев Ф. Н. 436, 441
 Хейз Дэвид 197
 Хелмс Джесси 453-456
 Хемингуэй Эрнест 110-116, 280, 404, 427
 Хлебников Велимир (В. В.) 69, 429, 585
 Ходасевич В. Ф. 423, 425, 591
 Холстомер 568
 Хомский (Чомски) Ноам 351-352
 Хофман Роальд 374, 382-385
 Хрущев Н. С. 27, 67, 132, 231, 356, 479
 Хуссейн Саддам 202
 Хэлберн Одри 242
 Хэррис Ричард 228
 Цеткин Клара 537
 Цивьян Ю. Г. 233, 249-250, 328, 460
 Ципф Джордж Кингсли 419
 Цирулис (Цивьян) Гунар 249-250
 Цорес, крошка 477
 Чайковский П. И. 208-209, 212
 Чапаев В. И. 162, 166, 459
 Чапский Йозеф 271
 Чарли, боксер 590
 Чемоданов Н. С. 359
 Чернов И. А. 495
 Черномырдин В. С. 487

- Чернышевский Н. Г. 344
 Черчилль Уинстон, сэр 76, 279, 559
 Чехов А. П. 105, 463, 477, 572-576
 Чикоидзе Г. 176, 356
 Чингисхан (Тэмуджин) 104-105
 Чудаков А. П. 483-484, 574-577
 Чудакова (Хан-Магомедова) М. О. 483-484
 Чуковская Л. К. 161
 Чуковский К. И. 152, 279, 487
 Чупринин С. И. 508
- Шайкевич А. Я.** 293-294, 304, 314
 Шаламов В. Т. 165
 Шамелис Вера 551
 Шампольон (Шамполион) Франсуа 210
 Шапиро Майкл 363
 Шарик 566-568
 Шариков П. П. 62
 Шатобриан Франсуа Рене де 199-200
 Шаумян С. К. 142, 185-186
 Шацкий Л. А. 174
 Швондер 566-567
 Шекспир Уильям 61, 428, 435, 437, 563
 Шелепень, ученик 31
- Шемякин Михаил 506
 Шепард Дэвид 460-461
 Шервинский С. В. 408
 Шибанов Ф. И. 33
 Шиллер Фридрих 76
 Шишков А. С. 585
 Шкловский В. Б. 136, 175, 202, 353-355, 360-362, 366, 492, 599
 Школьников Т. Г. 51
 Шолом-Алейхем (Рабинович Ш. Н.) 485
 Шостакович Д. Д. 98-100, 556
 Шостакович М. Д. 556
 Шоу Бернард 65
 Шредингер (Шрёдингер) Эрвин 179
 Шрейдер Ю. А. 528
 Штерн Лео 505
 Шуб Э. И. 599
 Шукман Гарольд 161-162
- Щеглов К. А.** 196
 Щеглов Ю. К. 61-63, 68-69, 72-74, 78-88, 92, 140-144, 159, 166-167, 174, 196, 202-205, 219-220, 237-239, 244, 266-267, 282, 302, 305, 323, 325, 349, 402, 411-412, 466, 497-498, 521
- Эдип** 25, 409, 602
 Эйвс, Макс 96

- Эйзенхауэр Дуайт 493
 Эйзенштейн С. М. 64, 137-138, 195, 325, 471, 492, 502-503, 521, 547-548, 599-602
 Эйнштейн Альберт 191-192, 398, 577
 Эйр Мильтон 512
 Эйхенбаум Б. М. 492
 Эккерман Иоганн Петер 175
 Эко Умберто 201, 358, 374, 493-495
 Эль Греко (Теотокопули Доменико) 404
 Эмерсон Кэрил 246
 Эмис Кингсли 556-557
- Энгельс Фридрих 106
 Энемони Энтони 399-400
 Эрастов К. О. 134, 146-148
 Эфрон А. С. 165
 Эфрос А. В. 229-233
- Юрьев Ф. Ф.** 565
- Ягода Г. Г.** 36
 Якобсон Р. О. 170, 201, 217, 350-369, 439, 393, 601-602
 Яковлева О. М. 229
 Ямпольский М. Б. 12, 47, 250, 466
 Янг Филипп 112
 Янковский О. И. 472

СОДЕРЖАНИЕ

Справка 3

1. Детство, отрочество, университеты

Эросипед	9
Windows в Европе	13
Котлеты моей мамы	20
Акмеизм в туфлях и халате	24
Очерки бурсы	29
What's in a name?	34
Связи по смежности	40
Западное кино	51
Мат в четыре хода	54
А и Б	57
Comrades Petrov and Smirnov	60
Диккенс, Ивлин и мы	62
Троянской войны не будет	64
Надзирать и наказывать	67
Деревенская проза	71
-жж-	74
Постой, паровоз...	75
Пусть оно меня и моет	78
Надо себя показать	79
Папа и Юра	85
<i>ПАПИНЫ МАЙСЫ</i>	93
Belle lettre	108
Выбранные места из переписки с Хемингуэем	110

Зарубежка-57	116
Письма русского путешественника	117
На словесном фронте	118
Appropriation art	123

2. В людях

АХЧ	127
ИТМ	127
Полкаш	128
Общая теория дешифровки	130
21 августа 1959 года	131
Теоремы надо доказывать	137
Плащи, в которых пьют пиво	142
Случай в Сумах	143
Халтурологические заметки	144
У нас в Бхилаи	150
Яблоко или гулять	152
Все в одном томе	158
Прогнозы на 2000-й год	159
С историей накоротке	161
Чудеса кибернетики	166
Сырье für uns	167
Автоматы и жизнь	167
<i>О МЕЛЬЧУКЕ</i>	169
Убивает много	186
Что делать	189
Small little story	192
Скромность	194
Ошибочные сочинения	196
Кофе потом	197
Зоосемиотика-68	197
Мой первый штаббриан	199

Оппозиция «свое»/«чужое»	202
Плохой студент	204
Лингвистические задачи и тайны творчества	205
Полки вел...	213
Она его любит	217
Чем хуже, тем лучше	219
А поворотись-ка, сынку!	221
Шибболет	223
Молоко отдельно, мухи отдельно	226
Будем резать, будем бить	227
Бритва Оккама	229
Техника отпуска	231
Мимесис	233
С Лотманом на дружеской ноге	236
В чужом пиру	241
«Стрелки авторитетов»	244
«Эпикировка»	246
Бабушка-старушка	249
Не зря	251
Дворянское гнездо	252
Из России с любовью	258
Встречи с интересными людьми	261
Работа — не волк	265
Гранты и эмигранты	268
Nowy Świat	270
<i>Из истории вчерашнего дня</i>	274

3. Там

Семнадцать мгновений весны	317
О новом	321
Identity	323

Талант	328
Грамматика любви	331
Peers	336
Faux pas	337
Торонто-80	339
Доклад в половине четвертого	343
Южный акцент	346
Заметки феноменолога	347
<i>О ЯКОБСОНЕ</i>	350
Мой первый real estate	369
Кому кабельность, а кому некабельность	373
Процесс исследования	378
Безнадёга	380
Ars poetica	385
Профессиональная кухня	386
Unfortunately, бля	391
Чайная церемония	394
Полировка личности	396
Поэтика недоверия	397
Сравнительное литературоведение	398
Расщепление личности	400
Гальциона	402
«Мы»	412
Таксист и синтаксист	416
Это я...	420
Собственный Платонов	425
<i>ПОСВЯЩАЕТСЯ С.</i>	426
Можем уронить	444
Пригов и авокадо	447
Честняга	448
Все на выборы	452

4. Там и тут

Цыганская виньетка	459
Поэзия и правда	461
Ординарный профессор	465
С Гомером долго ты беседовал один	466
Name dropping	467
Хум хау	468
«Bist Du ein Zwerg?»	473
Длинные руки	478
Язык и речь	480
Да был ли Освенцим-то?	485
Как ни садитесь... ..	485
<i>О РЕДАКТОРАХ</i>	487
Пришелец	517
Смерть В. Ю. Розенцвейга	520
На галерах	521
На фоне Пушкина... ..	526
Голубой кит	530
Народ книги	530
Сексминимум	533
Диагноз	536
Губернатор острова Борнео	538
В тисках формы	540
Сомнительное блядство	546
Автографы	548
Уроки английского	554
О главном	560
Верхнее си	562
Кому же у кого учиться писать	566
Антонов огонь	572
Кон-арт	576
Между жанрами (Л. Я. Гинзбург)	580

5. Посылка

Пущай	589
Махаловка с НРЗБ	590
Не немецкий, а ненецкий	594
Еще не вечер	597
Доля шутки	599

<i>Указатель имен</i>	603
-----------------------------	-----

Жолковский А. К.

Ж79 Эросипед и другие виньетки. – Томск–М.:
Водолей Publishers, 2003. – 624 с.

ISBN 5 – 902312 – 15 – 9

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни, – о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х - 70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.

Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6

Подписано в печать 07.10.03. Формат 70х90/32
Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль
Печать офсетная. Печ. л. 19,5
Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б
тел. (095) 276-30-84

Отпечатано в ИПП «Гриф и К^с»,
г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а